ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

СТАЛИНГРАД

Советский писатель

1943

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

СТАЛИНГРАД

сентябрь 1942 – январь 1943

☆

советский писатель
москва
1943



Редактор *А. Ступникер*

А456. Подписана к печати 15/V 1943 г. Печ. л. $4^3/_4$. Авт. л. 6,03. Уч.-изд. л. 6,28
Тир. 20 000. Заказ 319
Цена 2 р. 75 к.

Типография „Красный печатник". Москва, ул. 25 Октября, д. 5.

От автора

В этой книге собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте в период с сентября 1942 года до начала января 1943 года,— они описывают сталинградскую оборону, начало нашего наступления и первый этап окружения немецких войск.

10 февраля 1943 года

Волга — Сталинград

Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зеленых городов. Мы ехали пыльными проселками, укатанными грейдерами, ехали яркими синими полднями, в горячей пыли, и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину, ехали ночью, и луна и звезды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому быстрому Дону.

Мы проехали через Ясную Поляну. Пчелы ползали по цветам, прикрывшим тихий могильный холм, и маленькие осы неподвижно висели над могилой, словно прикрывая с воздуха мертвого Толстого. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна в комнаты входило солнце, и свежебеленые стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали восемьдесят убитых, да черные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о немецком вторжении в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей великой простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от нее и похоронены в огромных воронках от тяжелых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.

А мы едем все дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны. Всюду: на полях, во время пахоты и молотьбы, за лошадьми, впряженными в плу-

ги, на тракторах и комбайнах, за рулем грузовиков, на опасной тяжкой страде прифронтовых разъездов трудится русская женщина. Это она первой вбежала в подожженный немцами яснополянский дом, это она ровняет лопатой не имеющую конца-края дорогу, по которой идут танки, боеприпасы, скрипят колесные обозы. Русская женщина приняла на свои плечи тяжесть огромного урожая—сняла его, связала снопы, обмолотила зерно, свезла на ссыпной пункт. Ее загорелые руки не знают покоя от зари до зари. Она правит прифронтовой землей. Подростки и старики помощники ей. Не легко дается женщине работа. Вот, утерши пот, помогает она лошадям тащить вязнущую в песке груженную тяжелой медью зерна подводу. Стучит она топором на лесозаготовках, валит толстые стволы сосен, водит паровозы, дежурит на речных переправах, носит письма, до зари работает в конторах колхозов, совхозов, МТС. Это она по ночам не спит, ходит вокруг амбаров, стережет свезенное зерно. Она не боится великой тяжести труда, она не боится ночной прифронтовой жути, глядит на дальний свет ракет, покрикивает, стучит в колотушку. Шестидесятилетняя старуха Бирюкова ночью пошла караулить амбары, вооружившись окованным железом сковородником, а утром, смеясь, рассказала мне: «Темно, луны еще нет, один прожектор ходит по небу. Только я слышу — подбираются какие-то к амбару, замок пробуют. Сперва испужалась, думаю: что я, старуха, им, окаянным, причинить могу? А потом, как вспомнила, каким пóтом кровавым мои дочки этот урожай для моих сынов собрали, подошла тихо, наставила свой сковородник, да как зареву почище городового: «Стой, ни с места, стрелять буду!» Ну, они так и ахнули в бурьян, зашумели. Отбила я их сковородником от амбара».

Не легко трудится русская женщина, принявшая в свои руки громаду труда в поле и на заводе. Но тяжелей трудовой ноши та тяжесть, которую несет ее сердце. Она не спит ночи, оплакивая убитого мужа, сына, брата. Она терпеливо ждет письма от пропавших без вести. Своим прекрасным, добрым сердцем, своей ясной, мудрой головой переживает она все тяжелые неудачи войны. Сколько скорби, сколько широкого и ясного ума в ее мыслях, в ее словах, как глубоко и мудро поняла она грозу, грохочущую над страной, как бесконечно добра, человеколюбива и терпелива она!

Нашей армии есть, что защищать, ей есть, чем гордиться — и славным прошлым, и великой революцией, и обширной, богатой землей. Но пусть гордится наша армия русской женщиной — прекраснейшей женщиной земли. Пусть помнит армия о жене, матери, сестре, пусть боится пуще смерти потерять уважение и любовь русской женщины, ибо нет на свете ничего выше и почетней этой любви.

О многом думалось по дороге к Сталинграду. Ведь длинна эта дорога. Вот уж другое время, часы здесь на час вперед. Вот и другие птицы — большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах, по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уж другая — пышное многотравие ее исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылем, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги, вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на

Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни,— вызывают чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живет в армиях, защищающих Волгу и Сталинград...

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись темные облака, но воздух был ясен, и на много верст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, соединивший воедино правобережье и заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник, волна вздыхала, колебля бакан. К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подернулся легким синеватым туманом, мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег. Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелено-серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов, легкий дымок едва поднимался над трубами,— они сдерживали свое шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки, сдвоенные и счетверенные пулеметы, вырыты укры-

тия, замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны. И по ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград — дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда — придется нам обратно за свою границу итти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, летчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвел свыше тысячи самолетовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и высшим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом, протянувшемся свыше, чем на шестьдесят километров, вдоль берега Волги. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза, с домами, населенны-

ми женщинами, детьми, подвергался чудовищной бомбежке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города. Но били они главным образом по центру. Мы не собираемся укорять их за это. Поднявшим меч внятен лишь язык меча.

Одновременно с воздушным налетом противник рвался к Волге севернее города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе Тракторного завода. Удар врага отразила противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны Тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, минометчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывали орудия, вывозились минометы на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рева разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Много десятков тяжелых пушек и танков получила армия за два дня боев северо-западней Сталинграда. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Навсегда войдет в историю этой войны имя веселого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжелыми минометами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Ее атаковали с воздуха пикировщики, с земли тяжелые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулеметных очередей смешались в единый хаос. На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались

они рядом с товарищами—артиллеристами. «Подавлены, накрыли», — каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась четкая размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, страница, написанная огнем и кровью, стойкостью войск, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налета. Еще кое-где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ сталинградец показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская,— говорит он,— а здесь стояла моя библиотека, а вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал — тут стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видна скульптура орла; одно крыло орла отбито осколком

бомбы, второе простерто для полета. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на черно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белых скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зеленые вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стекла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

Сталинград живет и будет жить. Нельзя сломить воли народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулеметные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные арбузные ломти, мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки, пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и

оскорбленные»,— читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится, мы оскорбленные, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно оглядывают улицы. Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточенны и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград. Вспоминается весь далекий путь: вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна, пчелы на могиле Толстого, благородный и верный труд крестьянок на широких полях прифронтовой полосы, Красивая Меча при свете луны, старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмем Сталинграда — не удержаться нам тогда в России», грохот артиллерийской канонады над Волгой, бронзовый летчик Хользунов, глядящий в небо, матросы на волжской переправе. Горько воевать на Волге. Но, нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска все идут, идут по темным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев. Эти люди достойны любви трудовой русской женщины, они не могут потерять ее уважения.

Сталинград
5 сентября 1942 года

Рота молодых автоматчиков

Вечером лежали в степной балке и ругали старшину. Большинство автоматчиков разулись, покачивая головами, разглядывали покрасневшие, саднившие ступни. Болели шеи, натруженные ремнем автомата. Кое-кто решил постирать в мелком, разлившемся по дну балки ручье. Прозрачная вода становилась коричнево-мутной от грязных портянок. Потом портянки сохли на ветвях диких груш и вишен, а ребята ощупывали пальцы ног и вздыхали:

— Да, после такого марша надо бы ногам дать отдохнуть.

Лазарев, узкоплечий парень, с давно не стрижеными русыми волосами, мягко льнущими к впалым вискам и затылку, сердито говорил:

— Я старшину предупреждал насчет того, что ботинки мне тесны, а он говорит: разносятся. Вот и разносились, в кровь ноги разбил.

— Ему хорошо на кухне ехать, загорать, а мы степь ступней мерим, — сказал черноглазый, черноволосый горьковчанин Романов и, задрав разутую ногу, бережно подул на воспалившуюся горячую кожу.

— Пыль, солнце, и нет спасения, и конца ей нет и краю,— сказал Петренко.— То ли дело Украина — садки и садки!

Лазарев рассмеялся.

— Ты степь не ругай. Желдубаев обижается, когда степь ругают.

Казах Желдубаев — товарищ Лазарева. Они подружились во время учебы в резервной части, беседуя в тихий час после занятий, на долгом марше под жестоким степным солнцем, в вихре пыли, такой густой, что рядом идущий вдруг исчезает, становится невидим. И, должно быть, Лазарев кричал в облако пыли:

— Эй, Желдубаев, ты здесь, что ли? Ни черта не видно!

После марша у них были совершенно одинаковые по цвету лица, хотя Желдубаев был самым черным, а Лазарев самым белым среди автоматчиков. Загар не приставал к лицу Лазарева, и высокий лоб его оставался таким же белым, каким был до степного похода. А в густой пыли дороги лица казаха и нарофоминца были одинаковы — серые, и только глаза — черные круглые у Желдубаева и голубые у Лазарева — сверкали живой влагой.

Они не вели длинных бесед. Они слишком уставали, чтобы вести долгий разговор. Но шагали они рядом, и изредка Лазарев спрашивал:

— Что, брат, устал?

А Желдубаев, вытаскивая обвернутую набухшей газетной бумагой пробку из фляги, протягивал товарищу стеклянную пузатую бутылку с теплой и мутной водой.

— Пей раньше ты,— говорил Лазарев.

— Ничего, ничего, пей, пожалуйста,— отвечал Желдубаев.

Вечером, если не успевали подвезти хлеб, они делили сухари и свертывали из экономии одну козью ножку. Они жалели друг друга. Вся рота автоматчиков жила необычайно дружно, семейно. Может быть, это происходило от того, что рота была сплошь из моло-

дежи. И статный Дробот — командир роты, и его заместитель Березюк, сухопарый и длинноносый, и командир взвода лейтенант Шуть,— словом, все автоматчики были примерно одних лет, кто с двадцатого, кто с двадцать третьего года. Но одни из них уже воевали больше года, как Дробот и Березюк, другие, как Романов и Желдубаев, впервые шли в бой.

Ходили они немного вразвалку, поглаживая висящий на груди автомат, поглядывали снисходительно на бойцов-стрелков и весьма гордились тем, что служат в роте автоматчиков. При марше полка их рота шла впереди, и все встречные поглядывали на них и говорили:

— Гляди, автоматчики идут.

Дробот для порядка был строг с ними, требовал, чтобы тщательно ухаживали за оружием, проверял автоматы, подтягивал ребят, но они сами знали и чувствовали, что для них значит ППШ. Дробот и Березюк были украинцами, их семьи остались на оккупированной территории — у Дробота под Белгородом, у Березюка — в Винницкой области, — и в них обоих была какая-то сосредоточенность, злобность, передававшаяся бойцам. Березюка ранили в осенних боях, и на щеке у него был большой розовый, лучами расходившийся рубец. Он всегда придирался к командирам взводов и отделений, но видно было, что делает он это не по злобе, а от любви к службе, и на него не сердились. Любили автоматчики командира взвода Шуть — молодого лейтенанта. Он еще в школе слыл хорошим, верным товарищем, а ставши комвзводом, говорил своим бойцам:

— Главное, ребята, держите товарищество, не нарушайте, для нас это первое дело.

И сам он никогда не нарушал товарищество автоматчиков.

Черноглазый Романов работал до призыва в знаменитой Павловской артели — на Оке, где делаются лучшие в Советской Стране перочинные ножи. Идя на службу, он взял с собой несколько замечательных ножиков со множеством приспособлений. Один был в форме самолета, другой походил на танк. Романов предполагал, что ножи пригодятся ему в трудную минуту, на такой ножик всегда наменяешь и табаку и спичек и чего хочешь, но товарищество в роте было так крепко и так пришлись по душе Романову ребята, что он не стал менять своих ножей, отдал их без всякого обмена товарищам. Лазарев, грустно улыбаясь, говорил товарищам:

— А я, ребята, до войны токарем был по дереву — шахматы работал из березы. Наделал я их великую силу, а сам играть не могу. — И, поглядывая на бойцов живым, умным взглядом, повторял: — Вот такое дело, шахматы делал с утра до ночи, а играть не научился, некогда было.

Пока сохли портянки, автоматчики нюхали дым, идущий от кухни, и позевывали: очень хотелось есть, но еще больше хотелось спать после пятидесятикилометрового марша.

Но им не пришлось отдохнуть по-настоящему. В этот день немецкие танки и мотопехота прорвались на одном из участков под Сталинградом. Немцы стремились к Волге, они чуяли влажное дыхание великой реки, они чуяли близость зимы, они напрягали все силы, чтобы вырваться к огромному городу. Командир полка Савинов получил приказ выступить в ту же ночь.

Он прошел мимо отдыхавших в балке батальонов, оглядывая утомленные лица людей, прислушиваясь к отрывкам разговоров отдыхавших на земле красноармейцев. Прошел он мимо автоматчиков и пытливо ог-



лядел их молодые похудевшие, ставшие совсем мальчишескими, лица. Многие из них никогда не были в бою.

«Как они, выдержат ли, устоят ли,— эти ребята в побелевших от злого солнца гимнастерках?»

Через несколько часов полк вступил в бой, и этот бой длился больше десяти дней...

Во время краткого отдыха полк вновь стоял в степной балке. Теплый вечерний воздух был полон рокота своих и вражеских самолетов, высоко в синем небе раздавались пулеметные очереди, стреляли пушки, выли моторы. На земле в это время тоже шел бой. Белые и черные облака разрывов стлались над плоской степью, коротко и четко печатали скорострельные полуавтоматические пушки, глухо раздавались разрывы тяжелых немецких снарядов. Иногда протяжно рокотали залпы гвардейских минометных дивизионов, и в гуле разрывов тонули звуки битвы, шедшей на земле и в небе. А иногда бой утихал и становилось тихо, так тихо, что слышно было, как шуршит степная сухая трава и стрекочут кузнечики. В глубокой балке бойцы себя чувствовали спокойно и мирно, словно отдыхали у себя дома, а не в нескольких километрах от противника. Автоматчики лежали на земле, поглаживая свои автоматы. Кряхтя от удовольствия, вытягивались во весь рост. Некоторые из них разулись, некоторые сняли гимнастерки, и снова на ветвях тощих диких груш и вишен лениво колыхались портянки и желтые, мытые в холодной воде, рубахи — плоды нехитрой красноармейской стирки. Я гляжу в молодые худые лица автоматчиков, вышедших из длившегося много дней и ночей боя. Для многих из них этот бой был первым. На их лицах странное смешение веселого мальчишества и опыта заглянувших в темные зрачки смерти людей.

Дробот говорит спокойно и задумчиво. Хорошо, когда молодой командир после боя недоволен собой, спокойно и объективно отмечает ошибки, помешавшие с полной силой развернуться автоматчикам, с настоящей тревогой разбирает случившиеся промахи, хорошо, когда молодой командир ни одного слова не говорит о себе, о своих личных боевых ощущениях и храбрых поступках, хорошо, когда он с восхищением и товарищеской гордостью рассказывает о бойцах. Рота выдержала испытание. На всю роту лишь один человек оказался недостойным товарищества автоматчиков. Лишь один человек — младший сержант Роганов в момент наступления очутился на командном пункте полка. Прибежавший на КП Березюк удивленно спросил:

— Почему вы здесь, младший сержант, а не со своим отделением?

Роганов ответил, что пришел на КП за ужином для бойцов.

— Неужели нельзя было бойца послать? — медленно сказал Березюк, кривя стянутый шрамом рот.— Сию же минуту отправляйтесь на передний край.

— Есть,— ответил Роганов, но он не исполнил приказа лейтенанта.

Всю ночь Березюк был в бою с автоматчиками и не видел Роганова, а утром ему сказали, что Роганов околачивается по полковым тылам. Березюк рассказал бойцам в короткую передышку боя о дезертирстве младшего сержанта.

— Эх, встретился б он мне, застрелил бы, как собаку,— сказал молодой боец.

И товарищество автоматчиков подтвердило в один голос: пусть не живет на свете, расстрелять его. И никто в мире не имел большего права произнести эти жестокие слова, чем они. Они получили это право

смертного приговора дезертиру, потому что сами не жалели своей жизни, потому что щедро пролили свою молодую кровь, потому что прочней металла сделалась их дружба и товарищество в степных боях под Сталинградом.

Вот как рассказывал Лазарев о первом бое:

— Пустили нас впереди стрелков: автоматчики ведь. Приказали к самым дзотам его добираться. Пятеро нас было: я, Романов, что ножи ребятам подарил, Петренко, Бельченко и друг мой главный — Желдубаев. Уже к вечеру было, солнышко садится, а огонь такой, что страшно сказать,— мина к мине ложится, дым, пыль стоит, вся земля вокруг нас минами разрыта. Они, мины, землю глубоко не роют, а вроде разгребают, как курица лапами. Засвистит — ляжем, разорвется — опять вперед идем. Несколько раз он нас накрыть хотел,—ну, прямо кажется, вот уже последнее дыхание пришло, в пяти шагах рвутся, в ушах так и звенит. Тут бы пожилой человек пропал обязательно, а у нас, молодых, ноги крепкие; как кинемся в сторону — один туда, другой сюда, он за нами минами не угонится, потеряет цель, а мы соберемся, опять вперед идем. Такое нас упорство взяло: ну что хочешь делай, лезем вперед и только. Уж совсем близко стали подходить, метров двести оставалось, вдруг пять танков из-за холма вышли и прямо на нас. Романов рядом со мной был. Посмотрел он на них,—в первый раз он немецкие танки видал,—и сказал: «Ну, смерть нам сейчас будет». Легли мы, смотрим на них. Обратно повернуть? Нет, такой мысли у ребят не было, а танки постояли, через наши головы огонь повели, постреляли и опять за холм вернулись. Переглянулись мы: что же, ребята, давай вперед пробираться. Такое уж наше дело, ничего не попишешь. И снова пошли, только, правду скажу, настроение у

нас стало очень серьезное, особенно после танков этих, и не верилось, что живыми из этого боя выйдем. Но тут мы совсем к немцу подошли, видать их прямо, совсем рядом. Человек двадцать пять автоматчиков мы насчитали, офицер с ними был,— шинель распахнута, и сумку видно на ремне под шинелью. Ходит он взад и вперед, все поглядывает в нашу сторону. Их двадцать пять, а нас пятеро, у них автоматы, и мы с автоматами. Полежали мы, подумали каждый про себя и открыли с ними бой. И только очереди мы первые дали, Желдубаев толкает меня и говорит: «Я сшиб его». И я как-то удивился, говорю: «Да, ну?» А он на меня посмотрел, зубами смеется. «Правда». И както он сказал это «правда», что сразу у нас настроение поднялось, и мы смеяться стали, и такое настроение стало, ну, я прямо не скажу, объяснить нельзя. Только минуты даже не прошло — немецкий снайпер Желдубаева сшиб, прямо в лоб пуля пошла, он лег рядом со мной и слова не сказал, и не стало его. Лежит мертвый, и я в его крови. Тут уж мы четверо бой вели. Я не могу рассказать, как только отбили мы своим огнем этих двадцать пять, не скажу я, сколько мы их положили, какие там убегли, врать не хочу. Дело вечером было. только не мы, а они с поля ушли; и я остался с Желдубаевым в степи, выкопал ему могилу, положил его туда своими руками, простился с ним и своими руками закопал землей.

Товарищи слушали рассказ Лазарева, изредка вставляя реплики:

— Случай интересный был у Бугрова, но Бугров— он убитый.

— Это верно, когда танки пошли на нас, мы подумали: ну, смерть нам сейчас будет.

— А хуже всего в бою, что старшина обеда не приносит, загорает возле кухонь и на передовую боится

полезть; вот у нас от этого тоже потеря была: невтерпеж станет, пойдет кто за обедом, а его и подшибут. Тут местность — степь, обед на передовую надо ночью всегда подвозить, днем не проберешься, а в части не сообразили; вот и бывали дни, голодными воевали, а от этого настроение, знаете, какое? Хорошо еще, мы, молодые, сознание имеем для любой трудности. Ночью, словом, обед надо на передовую везть.

Когда Лазарев кончил рассказ о том, как прощался он с мертвым Желдубаевым, черноглазый Романов сказал:

— Я раньше думал: что же самое страшное в бою? А теперь вижу: самое страшное товарища в бою потерять. Как перед смертью лейтенант Шуть стал с нами прощаться и сказал: «Я только одно прошу, ребята, будьте дружней, держитесь дружней, держитесь всегда вместе, не тушуйтесь», так у всей роты слезы и покатились. Я понял тогда: товарищ в бою — это лучше отца-матери. И я не думал, что автоматчики всей ротой плакать могут.

Степь была залита розовым светом садящегося солнца, а в балке стоял полумрак. Шли от кухонь бойцы с котелками, светлели на темных ветвях сохнущие портянки и рубахи. Мне подумалось, как жестоко и страшно ошибся младший сержант Роганов: лучше потерять жизнь в бою, чем потерять уважение и любовь верных людей из роты молодых автоматчиков.

17 сентября 1942 года

Душа красноармейца

Противотанковое ружье напоминает старинную пищаль. Оно так же велико, тяжеловесно, управляются с ним два бойца — первый и второй номер. В походе первый номер несет ружье, второй номер — увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды малокалиберной пушки, счетом тридцать штук, пятизарядную винтовку, к ней сто патронов, две противотанковые гранаты, ну и само собой — шинель и вещевой мешок. Все это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно ноет плечо и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжесть ружья мешает движению, не дает сохранять равновесие. Бронебойщик шагает тяжелой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от легкого хода командира, от мерного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Это народ большей частью коренастый, плечистый. По духу, характеру такой человек должен походить на тех русских охотников, которые ходили с рогатиной поднимать в чаще матерого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый угрюмый бирюк — безобиднейшая

тварь по сравнению с тяжелым немецким танком, вооруженным скорострельными пушками и пулеметами.

Человек, опытный в металлургическом производстве либо знающий работу шахты, придя в заводской цех или в надшахтное здание, почти всегда без ошибки укажет вам сталевара, горнового, чугунщика, катаֱля либо забойщика, крепильщика, машиниста врубовой машины. Каждого из них заметно отличает и походка, и одежда, и взмах руки при ходьбе, и речь. Всякий ищет себе профессию по характеру, а тяжкая и благородная профессия допечатывает характер рабочего, по подобию своему образует человека. Так и военное дело отбирает и соединяет людей по возрасту, силе, уму, по характеру, по страсти. И первая задача умелого командира и дельного комиссара — помогать этому естественному отбору, подсказывать людям их профессию в суровой и тяжкой работе войны, помогать определяться пулеметчикам, разведчикам, связистам.

Вот для меня боец Громов сделался образцом характера бронебойщика, хотя среди людей в роте многие были шире его в плечах, решительнее в движениях, как, скажем, темнолицый Евтихов, причинивший немало беды немцам, либо старший сержант Игнатьев, человек с большими руками, большим тяжелым подбородком и резкими, быстрыми поворотами толстой, красной от загара, шеи.

Громову тридцать семь лет, до войны занимался он в Нарофоминском районе Московской области сельскими, колхозными делами, проще говоря, был пахарем. Вряд ли, выходя июньским рассветом в прошлом году на колхозную конюшню и запрягая смирную лошадку в неповоротливую скрипучую подводу, думал он о том, что примерно через год придется ему заняться истреблением один-на-один тяжелых немецких танков.

Глядя на его бледно-серое, не поддающееся загару лицо, тронутое морщинами от долгой нелегкой работы, невольно спрашиваешь себя: случайно ли стал этот человек бронебойщиком, первым номером расчета противотанкового ружья? Может быть, тот же случай мог определить его ездовым в полковой обоз, либо посыльным при штабе, либо мог состоять он часовым при армейском интендантстве, проверять разовые и постоянные пропуска?

Но нет, не так. В его короткой раздраженной речи, в его светлых желто-зеленых и совсем недобрых глазах, в его движениях и повадках, в его неохотном рассказе, в его уверенно-снисходительном отношении к миру,— во всем проявляется характер этого человека. Внутренний закон, а не случай определил его в стрелки противотанковой роты. В глазах его, дерзких, глядящих прямо и придирчиво, в его недобром, чуждом всепрощению отношении к слабостям человеческим, в его резких и насмешливых суждениях о несовершенстве жизни сказывался характер недюжинный, прямой, сильный и упрямый.

Еще в походе Громов болел, «мучился животом», но он не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шел под не ведающим жалости степным солнцем, неся на плече ружье. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:

— Сходи в санчасть. Ты с лица сбледнел как-то.

— А что мне санчасть? — сердито отвечал Громов.— На печь, что ли, меня положат? Одно лечение — вперед итти.

— Ну, дай ружье понесу,— говорил второй номер Валькин,— натерло, небось, холку.

— Ладно, ты за мою холку не беспокойся,— раздраженно ответил ему Громов,— шагай за мной, твое дело маленькое.

И он шел, все шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он спал плохо, беспокойно и тяжело, его лихорадило. «Вот война,— думал он,— днем жара мучит, ночью холод, озноб бьет».

Впервые в жизни пришлось ему побывать на Волге. Острым, все замечающим глазом осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мохнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами державшихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах, прищурившись, смотрел он на реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, виноградниках.

«Эх, дошел, жулик, до коренной волжской земли»,— думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, гулко перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невеселых, тяжелых мыслей, они не оставляли его ни днем в степи, ни на ночных привалах, он наполнялся тяжелой, медленной злобой и безжалостно судил в своем сердце все ошибки, все проявления нестойкости.

И он весь был охвачен тяжелой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожженные деревни, навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев, он видел старух и стариков, баб с грудными ребятами на руках, ночевавших под открытым небом в степных балках, он видел невинную

кровь, он слышал страшные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.

И ни болезнь его, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не могли сломить его воли, его желания — бить в броню немецких танков... Это желание, упорное и медленное, созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжелое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, словно каменный уголь, разогрéтый в горне, рдело темнокрасным огнем. И уже нельзя было потушить этот огонь. Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчеты легких пулеметов. Он верил в силу своего огромного ружья-пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, медленно и любовно смазывал замок, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темносинюю сталь, блестевшую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя, укладывал спать свое ружье — так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал — большое ружье, он верил в него так, как в мирные времена верил в стальные лемеха тяжелого плуга. Он был умелым пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружье, пробивающее броню германского танка. Это ружье было подстать его натуре, его нелегкой душе, его недобрым зеленым глазам, всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны, Громов, он изведал и тяжкий долгий труд, и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить себе. И он шел

на врага, припадая на ту ногу, куда ложилась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, дыша знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли воины с неуклюжими мушкетами, и все кругом поглядывали на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой независимости проявлялась душа человека, который пошел на войну, ничего уж не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю папиросу, небрежно кинуть попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов натруженного сердца, не думал о смерти, навстречу которой шагал.

— Громов, верно, сходил бы в санчасть,— сказал ему старший сержант Игнатьев.

— Нет,— отвечал Громов.

Ему было очень трудно, жестокая война всей тяжестью легла на его плечи, его знобило ночью, а днем в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал — пыль ли это встала в воздухе или меркнет от хвори его зрение.

И он шагал все вперед, больной солдат, упрямый и злой, не ждущий никаких похвал за великий подвиг — терпение.

Ночью они заняли боевой рубеж. Пробираться пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка», потрескивающий шумливый самолет. «Керосинка» ставила фонари — ракеты и летала между ними, высматривала в белом сиянии, куда бы уронить малокалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было не много, но шуму и беспокойства она причиняла порядочно — мешала спать, словно блоха.

Почти до рассвета не спал Громов, лежа на дне «пистолетной» щели, устроенной таким образом, что в нее можно было упрятаться и расчету и противотанковому ружью на тот случай, если германским танкистам удалось бы утюжить гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головами, и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся. Он посмотрел на Громова и тихо, позевывая, сказал:

— Слышь, возьми мою шинель, ей-богу, а я так посижу, выспался я вроде.

— Ладно, спи,— ответил Громов.

Он никогда не был любезен со вторым номером, но сердцем помнил ворчливую и нежную заботу товарища. И Валькин, глядя иногда на угрюмого Громова, думал: «Этот уж вытащит меня, хоть без обеих ног останусь, не бросит, зубами утащит от немца».

— Волга где? — спросил Громов.

— Вроде на левой руке,— сказал Валькин.

— А справа холмики — это немец,— сказал Громов и спросил:—Ты пряжку в сумке отстегнул? Патроны подручней доставать будет.

— Весь магазин разложил,— ответил Валькин.— Тут и патроны, и гранаты, и сухари, и селедка,— чего хочешь.

Он рассмеялся, но Громов даже не улыбнулся.

С восходом солнца начался бой. Сразу определилось, что главными запевалами были наши артиллеристы и немецкие минометчики. Они забивали все голоса боя — и пулеметные очереди, и треск автоматов, и короткое рявканье ручных гранат. Бронебойщики сидели впереди нашей пехоты, на «ничьей» земле,— над

их головами угрюмо завывали советские снаряды, за их спиной рвались германские мины, с змеиным шипом резавшие воздух, сухо барабанили сотни осколков и комьев земли. Перед глазами и за спиной бронебойщиков поднялись стены белого и черного дыма, серо-желтой пыли. Это принято называть «адом». И Громов среди этого ада прилег на дно щели, вытянул ноги и дремал. Странное чувство внутреннего покоя пришло к нему в эти минуты. Он дошел, не сдал. Он дошел и донес свое ружье, он шел так исступленно, как идут в дом мира и любви, как идут больные путники домой, боясь остановок, охваченные одним лишь желанием увидеть близких. Ведь несколько раз в пути казалось — он упадет. И вот он дошел. Он лежал на дне щели, ад выл тысячами голосов, а Громов дремал, вытягивая натруженные ноги: бедный и суровый отдых солдата.

Валькин сидел на корточках возле него и, шопотом матерясь, глядел, как бушевала битва. Иногда мины шипели так близко, что Валькин прятал голову и быстро оглядывался на Громова — не видит ли первый номер его робости. Но Громов полуоткрытыми глазами смотрел в небо, лицо его было задумчиво и спокойно. Несколько раз шли немцы в атаку и отходили обратно: не могли прорваться сквозь огонь советской пехоты. И у Валькина нарастала тревога: он внутренне чувствовал, что с минуты на минуту должны появиться танки. Он поглядывал на Громова и беспокоился — сможет ли больной первый номер выдержать бой с немецкими машинами.

— Ты бы поел чего, а? — спросил он и добавил, желая вызвать Громова на разговор: — Говорил я старшине, чтоб сто грамм тебе дали, для лекарства прямо, от живота, — не дал, чорт. А сам, небось, сколько хочешь потребляет.

Но и этот интересный разговор не поддержал Громов. Он лежал на спине и молчал.

Валькин внезапно припал к краю щели.

— Громов, идут! — закричал он пронзительно. — Идут, Громов, вставай!

И Громов встал.

В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались огромные, быстрые и осторожные, одновременно тяжелые и поворотливые танки. Немцы решили прорубить путь пехоте.

Громов дышал шумно и быстро, жадным, острым взором разглядывал танки, шедшие развернутым строем из-за невысокого холма.

Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.

— Нет, какой там, не испугался, даже, наоборот, боялся, чтоб не свернули в сторону, а так страху никакого... Пошли в мою сторону четыре танки. Я их близко подпустил — стал одну на прицел брать. А она идет осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать ее совершенно. Ну, дал я по ней. Выстрел из ружья невозможный, громкий и отдачи никакой, только легонько совсем толкнуло, меньше чем от винтовки. А звук прямо особенный, рот раскрываешь и все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И он погладил гладкий ствол своего ружья.— Ну, промахнулся я, словом. Идут вперед. Тут я второй раз прицелился. И так мне это весело, и зло берет, и интересно, ну прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеется кто-то: «А вдруг не осилишь, а?» Ну, ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал, прямо дух занялся: огонь синий по броне прошел, как искра, быстрый. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой внутрь

вошел и синее пламя это дал. И дымок поднялся. Закричали внутри немцы, так закричали, я в жизни такого крику не слышал, а потом сразу треск пошел внутри, трещит, трещит. Это — патроны рваться стали. А потом пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов. Я по второй танке дал. И тут уж сразу, с первого выстрела. Пламя синее на броне. Дымок пошел. Потом крик. И огонь с дымом снова. Дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу выздоровел. И гордо как-то себя чувствую. И так дух радуется, прямо не было со мной такого. Всему свету в глаза смотреть могу. Осилил я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели он меня сильней...

Разговаривали мы с Громовым в степной балке. Солнце уже село. Сумрак наполнил балку, неясно чернели длинные противотанковые ружья, прислоненные к стенке овражка, прорытого весенней водой, мерно посапывали, завернувшись в шинели, бронебойщики. Молча сидел подле Валькин, натягивал на мерзнущие ноги полы шинели. Лицо его было темным от загара и сумерек, казалось мрачным.

— Ты бы закрылся шинелью, больной ведь человек,— сказал он.

— Э, чего там,— Громов махнул рукой.

Его взволновал рассказ о первой встрече с танками. Глаза его словно светились в полутьме, они были совсем светлыми, большими, зелеными, недобрыми.

И я сидел рядом и смотрел на него молча: на больного солдата, осилившего немцев, на человека, которому было совсем не легко воевать, на пахаря земли, ставшего бронебойщиком не по случаю, не по велению начальства, а просто по доброй воле, от всей души.

20 сентября 1942 года

Сталинградская битва

Месяц тому назад одна наша гвардейская дивизия своими тремя стрелковыми полками, с артиллерией, обозами, санитарной частью и тылами подошла к рыбачьей слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершон необычайно стремительно — на автомашинах. День и ночь пылили грузовики по плоской заволжской степи. Коршуны, садившиеся на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен и тысяч колес и гусениц, верблюды тревожно озирались,— им казалось, что степь горит,— могучее пространство все клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжелым, небо заволокло красной ржавой пеленой, и солнце, словно темная секира, повисло над тонущей во мгле землей. Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастерок тяжелую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «По машинам!» — и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, крытые чехлами пулеметы, мощные полковые минометы, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами,— все сделалось рыжевато-серым, все покрылось мягкой теплой пылью. В головах людей стоял шум от гула мо-

торов, от хриплого воя гудков и сирен — водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги, все время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно; он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по центральным улицам города. И генерал все торопил движение, все повышал и без того бешеный темп его, все сокращал и без того короткие остановки. И напряжение его воли передавалось тысячам людей — им всем казалось, что вся их жизнь состоит в стремительном, день и ночь длящемся, походе.

Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клены и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями, вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела темное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было зловещим, быстрым, легким и черным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стрелы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги, на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу; казалось, что черный ободок вокруг нее из того смертного дыма, что стоит под горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы. Люди торопливо сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью, сахар, колбасу.

Не легкая вещь быстро переправить через Волгу полнокровную дивизию даже во время маневров. Но переправить дивизию, когда над Волгой светит ясное солнышко, когда воздух прозрачен, когда в небе носятся желтые осы — «Мессеры», когда немецкие пикировщики бомбят берег, а минометы и автоматчики обстреливают с высот расстилающуюся перед ними в своей ясной шири реку,— это не то, что не легко, это больше, чем трудно.

Но дух стремительного движения, принятый дивизией на марше, воля к сближению с противником помогли справиться с этой задачей. Переправа прошла с малыми потерями, настолько стремительно и смело была она проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лодки. «Готово?» — спрашивали гребцы. «Вперед, полный!» — кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплескивала у носа суденышка, и сотни глаз напряженно, внимательно глядели то на воду, то на поросший начавшей желтеть листвой низовой берег, то туда, где в беловатой дымке высился сожженный город, принявший жестокую и прекрасную судьбу. Баржи колыхались на волне, и людям стрелковой земной дивизии становилось страшно от того, что враг всюду, в небе и на берегу, а они встречаются с ним, не чувствуя успокаивающей прочности земли под ногами. Невыносимо прозрачен и чист был воздух, невыносимо ясно синее небо, безжалостно ярким казалось солнце, обманчиво неверной текучая мутная вода. И никого не радовало, что воздух чист, что ноздри ощущают речную прохладу, что воспаленных от пыли глаз касается нежная влажность дыхания Волги. На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Поче-

му так прозрачен и тонок голубоватый дымок горящих шашек! Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.

— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.

Метрах в пятидесяти от баржи вдруг выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб, с рассыпчатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, наплескав водой на дощатую палубу. И тотчас еще ближе вырос и обрушился второй столб, за ним третий. А в это время немецкие минометчики открыли беглый огонь по начавшей переправу дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи, тихо вскрикивали раненые, так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, врагов, самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.

Был страшный миг, когда тяжелая мина ударила в борт небольшого парома, блеснуло пламя, темным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота, людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных обломков зеленеют тяжелые стальные каски плывущих. Двадцать гвардейцев из сорока на пароме погибли.

И правда, страшен был этот миг, когда гвардейская дивизия, сильная, как Илья Муромец, не смогла помочь двадцати раненым, ушедшим под воду.

Ночью переправа продолжалась, и никогда, пожалуй, сколько существуют свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи.

Генерал Родимцев провел эту ночь в напряженной деятельности. За время войны Родимцеву пришлось пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала со Сталинки прорвавшиеся

эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам. Темперамент, сильная воля, спокойствие, быстрота реакции, уменье наступать, когда всякому другому кажется, что о наступлении мечтать нельзя, тактическая опытность и осторожность, сочетающиеся с тактическим и личным бесстрашием,— черты военного характера молодого генерала. И характер генерала стал характером его дивизии.

Мне часто приходилось встречать в армии больших патриотов своего полка, батареи, танковой бригады. Но нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. Он носит трогательный и подчас несколько смешной характер. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если послушать командиров, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирожки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бреет, но и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» — только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь, ведь в нашей-то дивизии...» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу... генерал будет доволен, генерал будет огорчен». Ветераны, «фундаторы», как они себя называют, рассказывая о больших военных делах, обязательно вставят в разговор: «Да уж так повелось, наша дивизия всегда дерется на самых ответственных участках». Раненые в госпиталях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть, пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию.

Может быть, в эту ночь, когда последние подраз-

деления переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой исключительно своеобразной и тяжелой обстановке.

Действительно, трудно было бы придумать более сложную и неблагоприятную картину начала боя. Дивизия, вступая в Сталинград, разделялась на три части: во-первых, тылы ее и тяжелая артиллерия оставались на восточном берегу, отделенные от полков Волгой; во-вторых, полки, переправившиеся в город, тоже не могли держать сплошной линии фронта, так как немцы уже стояли между двумя полками, переправившимися в заводском районе, и полком, переправившимся ниже по течению, в центральной части города.

Я убежден, что именно это чувство своего «дивизионного» патриотизма, любовь, привычка, связывающая командиров, некое единство военного стиля, единство характера дивизии и ее командира в большой степени помогли разъединенным подразделениям, отделенным от тылов Волгой, действовать не вразброд, а как стройное целое, установить связь, взаимодействие и, в конце концов блестяще решив общую боевую задачу, создать непрерывную линию фронта всех трех полков и образцово наладить снабжение боеприпасами и продовольствием. Этот дух общности был как бы подосновой боевого умения, мужества и упорства командиров и бойцов дивизии.

В самом городе положение было тяжелым: немцы считали, что занятие Сталинграда вопрос дня, может быть, часов. Главной силой обороны являлась, как часто это бывает в тяжелые времена, наша артиллерия. Но немцы энергично и довольно успешно боролись с ней силами автоматчиков — условия го-

рода позволяли незаметно подкрадываться к пушкам и внезапными очередями выбивать расчеты. Немцы вот-вот собирались вырваться к берегу и опрокинуть нас в Волгу. Но недаром день и ночь шли в клубах пыли машины, недаром степь словно заволокло густым желтым дымом.

Наутро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.

Дивизия сосредоточилась и была готова к бою.

Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющих Сталинград войск? Дивизия, тыл которой находился за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а один полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжелым, что Родимцев прибег к иному, грозному, уже испытанному им под Киевом, средству — он начал наступать! Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжко израненный немцами город, с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.

Солнце восхода, словно огромный, налившийся кровью скорби и гнева, глаз, смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простертым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры нагих юношей, выделяющиеся на бархатно-черном фоне покрывшегося копотью пожара Дворца физкультуры, на сотни молчавших, ослепленных домов. И такими же, налитыми кровью гнева и скорби, глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившиеся через Волгу. Немцы

не ожидали наступления, немцы настолько были уверены в том, что, методически отжимая наши войска к берегу, сбросят их в Волгу, что прочно не закрепляли занятого пространства. Гвардейский полк Елина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Они не ставили себе первой целью соединиться, первой их целью было бить противника, отнять у него то, что создавало выгодные условия немецких позиций — возможность просматривать берег и Волгу, контролировать центральную переправу. Полк Елина пошел на штурм, не видя двух своих товарищей — полков. Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий. Он чуял дыхание двух гвардейских полков близко, рядом, возле себя. Он слышал их тяжкую поступь, грохот их артиллерии звучал, как братские голоса, дым и пыль сражения, взметнувшиеся высоко в воздух, говорили о движении гвардии вперед, пикировщики, словно потревоженные галки, вились с утра до вечера над дерущимися батальонами гвардейцев.

Полк Елина штурмом взял огромные здания — опорные пункты немцев.

Никогда еще не приходилось вести таких боев. Здесь все общепринятые понятия сдвинулись, сместились, словно в город над Волгой шагнули леса, степные овраги, горные кручи и ущелья, равнинные холмы. Здесь словно воедино собрались особенности всех театров войны от Белого моря до Кавказских гор. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарников и деревьев, напоминающих рощи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра, еще через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную,

чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам, среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем, как в дальней курской деревеньке. И эта резкая смена требовала постоянного напряжения командирской мысли, быстрой перестройки всех приемов боя. А иногда часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах, у стен дома, в заваленных кирпичом полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах, среди измятых остовов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. И эти бои не были похожи ни на один театр от Белого моря до Кавказа.

В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжелыми стенами. Шесть человек саперов под лютым огнем чующих смерть немцев поднесли на руках десять пудов взрывчатки и произвели взрыв. И когда на миг представишь себе эту картину: лейтенанта сапера Чермакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, саперов Клименко, Шухова, Мессерашвили, ползущих под огнем вдоль разрушенных стен, каждого с полуторапудовым запасом смерти, когда представишь на миг их потные, грязные лица, их потрепанные гимнастерочки, представишь, как сержант Дубовой крикнул: «Не дрейфь, саперы!» — и Шухов, кривя рот, отплевывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!» — то, право же, чувство великой гордости охватывает. Ведь какие молодцы!

А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым многое связано в истории Сталинграда, курган, известный со времен гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли влюбленные, где катались зимой на санях и на лыжах. Место, которое на русских

и немецких картах обведено жирным кружком, место, о занятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиограммой германской ставке. Там оно значится как «господствующая высота, с которой просматривается Волга, оба ее берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшные это слова — «господствующая высота». Ее штурмовали гвардейские полки.

Много хороших людей погибло в этих боях. Многих не увидят матери и отцы, невесты и жены. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжелых слез прольют по всей России о погибших в боях за курган. Не дешево далась гвардейцам эта битва. Красным курганом назовут его. Железным курганом назовут его — весь покрылся он колючей чешуей минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, темными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми рваными кусками гранат, тяжелыми стальными тушами развороченных германских танков. Но пришел славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его оземь и наступил на него сапогом.

Полки дивизии соединились. Невиданно тяжелое наступление, начатое с берега Волги, чуть ли не от самой воды, завершилось успехом. Этим как бы закончился первый период боевой работы дивизии в Сталинграде. Этот период принес дивизии большой успех. Фронт, занятый ее полками, сплошной линией прошел по выгодным и устойчивым рубежам. Люди обогатились в этих боях огромным, бесценным опытом, который нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти: войска с танками, артиллерией, минометными полками, поддерживаемые мощными воздуш-

ными армиями, сражались на улицах и площадях огромного города. В этих боях сотни и тысячи людей, бойцов и командиров, узнали, что такое борьба за многоэтажный дом, связисты научились тянуть провода не шлейфом, а отдельными линиями вдоль стен домов, с обходной, запасной, в этих боях по-настоящему поняли значение радиосвязи, саперы познали, как нужно минировать и разминировать улицы и переулки. Вероятно, боец Хачетуров, сумевший под огнем обезвредить сто сорок две германских мины, мог бы читать лекции по этому вопросу. Бойцы и командиры полной мерой измерили ценность в уличных боях минометов, противотанковых пушек, ручных гранат, противотанковых ружей. Они научились маскировать в домах, подвалах могучую технику дивизии. По выражению командира полка майора Долгова, «гвардеец полюбил бутылку с горючей жидкостью».

Начался второй период тяжкой битвы — оборонительная война, с десятками внезапностей, мощными атаками немецких танков, жестокими налетами пикировщиков, контр-атаками наших подразделений, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжелой пушки и пикирующего бомбардировщика; новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на минуту не смолкали пушки и минометы, где гул танковых и самолетных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны для города, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул Тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт — здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, шумят, следят за жизнью соседей,

беседуют. Здесь живут люди, чей характер, привычки, склад души и мысли — плоть от плоти народа, пославшего на трудный подвиг своих сыновей.

Мы пошли на комадный пункт дивизии в девять часов вечера. Темные воды Волги освещало разноцветными ракетами, они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зеленой, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу. Со стороны заводов слышалась печать автоматов, орудийные залпы освещали белыми зарницами темные трубы, и на миг казалось, что завод работает по-обычному, что это печатают ночные бригады клепальщиков, что голубоватые вспышки автогена освещают заводские корпуса и трубы. Пронзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели германские мины, оскверняя волжский простор треском разрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лепящиеся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.

— Слышь, обед приносили? — спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж.

Из темноты отвечает голос:

— Давно пошли, а вот нет их обратно. Либо залегли где, либо не дойдут уже вовсе. Сильно очень бьет около кухонь.

— Вот паразит, обедать охота,— недовольно говорит сидящий и зевает.

Командный пункт дивизии размещен в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты; штольня выложена камнем, креплена бревнами, и, как в заправской шахте, по дну ее журчит вода. Здесь, где все понятия

сместились, где продвижение на метры равносильно многокилометровым боевым движениям в полевых условиях, где иногда расстояние до засевшего в соседнем доме противника измеряется двумя десятками шагов, естественно, сместилось и взаиморасположение командных пунктов дивизии. Штаб дивизии находится в двухстах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае прорыва,— шутя говорит работник штаба,— легко поддерживать голосом, крикнешь — услышат. А оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно — она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземельи, где все ходит ходуном от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь, ставший традиционным во всех очерках с фронтов войны, связист кричит: «Луна, луна!», и здесь, скромно держа в рукаве махорочную папиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные. И сразу же здесь, в штольне, освещенной бензиновыми лампочками, чувствуется, что к одному человеку тянутся все нити проводов из разрушенных домов, заводиков, мельниц, занятых гвардейской дивизией, что к одному человеку обращены вопросы командиров, что один человек немного насмешливой, спокойной и внимательной речью определяет строй жизни гвардейцев. Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди с тренированной в боях волей ведут себя так, словно им легко, словно они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжелое дело на земле. А ведь в штольне душно: когда входит сюда све-

жий человек, крупные капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — все дрожит от напряжения, от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах и огромные неясные тени судорожно движутся на мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты — пыль, дым, осколки летели в штольню, из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучащем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмешливой речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плотину. И вражеская сила отхлынула.

Дивизия вошла в ритм битвы. Дыхание людей, биения сердец, короткий сон, приказы начальников, стрельба орудий, пулеметов, противотанковых ружей — все находится в ритме битвы. Это, наверное, самое трудное,— думается мне,— в этих внезапных налетах пикирующих бомбардировщиков, в ночных и дневных штурмах фашистской пехоты, в стремительных наскоках десятков танков, вдруг появляющихся то на рассвете, то в три часа дня, в убаюкивающем ложном спокойствии вечерних сумерек — обрести чувство ритма. Ритм бури! Ритм сталинградской битвы!

Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем ночном штурме участвовали немецкие саперы.

Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на самодельном столе пляшет, подпрыгивает, точно ее охватил страх и она хочет убраться из этой гудящей штольни с мечущимися по стенам мутными тенями. Стрекотнул автомат, звук его хорошо слышен здесь.

— Вот это немец,— говорит Родимцев.

Он рассказывает обстоятельно, не торопясь.

— Война здесь подвижная, гибкая,— говорит он.— Она то ночная, то дневная, то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые налеты артиллерии и минометов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и закрепления. Штурмуют люди, вооруженные гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулеметами. А группа закрепления, пока еще штурмовая добивает противника, подтягивает боеприпасы, продовольствие, запасец не меньше, чем на шесть дней, ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца,— оказывается, четырнадцать дней воевали в доме, окруженном «немецкими» домами. Эти двое спокойно эдак потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли, говорят: у нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят. Вообще война в домах — своеобразнейшее дело. Особенность этой войны в Сталинграде — гибкость, резкие, почти мгновенные изменения тактики да и всего характера боев. То борьба за один дом, то вот, как недавно,— два полка немецкой пехоты и семьдесят танков внезапно обрушиваются на полк Панихина, и эдак десять-двенадцать атак на день.

Я спросил его, не утомлен ли он этим круглосу-

точным напряжением боев, этим круглосуточным грохотом, этими сотнями немецких атак, которые были ночью, вчера днем, будут завтра.

— Я спокоен,— сказал он,— так нужно. Я уж, пожалуй, все видел. Как-то мой командный пункт утюжил немецкий танк, а после автоматчик для верности бросил гранату, я эту гранату выкинул. И вот вышел, воюю и буду воевать до последнего часа войны.

Он сказал это спокойно, негромким голосом. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили, как полагается, о театрах.

— У нас тут тоже были два концерта — играл на скрипке в нашей трубе парикмахер Рубинчик.

И все вокруг заулыбались, вспомнив о концерте. А телефоны за время этого разговора звонили раз десять, и генерал, чуть-чуть поворачивая голову, говорил два-три слова дежурному по штабу. И в этих коротких словах, произносимых легко, буднично, словах боевых приказов, была торжественная сила человека, овладевшего ритмом боевой бури, человека, диктовавшего этот страшный четкий ритм войны, ставший ритмом, стилем гвардейской дивизии, стилем всех наших сталинградских дивизий, всех советских людей, воюющих в Сталинграде.

Заместитель генерала, полковник Борисов, отдавал последние распоряжения перед штурмом одного из домов, занятого немцами. Этот пятиэтажный дом имел большое значение; из его окон немцы просматривали Волгу и часть берега.

План штурма меня поразил множеством деталей, сложностью разработки. На аккуратно сделанном чертеже был нанесен дом и все соседние постройки. Условные значки показывали, что во втором этаже в третьем окне находится ручной пулемет, на треть-

ем этаже в двух окнах сидят снайперы, а в одном расположен станковый пулемет,— словом, весь дом был разведан по этажам, по окнам, по черным и парадным подъездам. В штурме этого дома участвовали минометчики, гранатометчики, снайперы, автоматчики, в этом штурме участвовала полковая артиллерия и мощные пушки, находившиеся на том берегу, в заволжьи. У каждого рода оружия была своя задача, строго сопряженная с общей целью; взаимная связь, управление осуществлялось системой световых сигналов, по радио, телефонами. Ведущая мысль этого наступления была одновременно простой и сложной: цель была бы ясна ребенку, а пути к этой цели казались настолько сложными, что только большой военной грамотностью можно было их преодолеть.

И в этом снова ощутилось своеобразие сталинградской битвы. Здесь сочеталось огромное стихийное столкновение двух государств, двух борющихся на жизнь и смерть миров с математической, педантически точной борьбой за этаж дома, за перекресток двух улиц; здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля; здесь происходила борьба, решающая судьбы мира, борьба, в которой проявлялись все силы и слабости народов: одного — поднявшегося на бой во имя мирового крепостного могущества, другого — вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения.

Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на моторной лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.

Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, выли несущие смерть осколки, угрюмо гудели в темном небе наши тяжелые бомбардировщики; сотни светящихся трасс, окрашен-

ных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей, бомбардировщики изрыгали по немецким прожекторам белые трассы пулеметных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжелых пушек, всей силой великой нашей артиллерии, на правом берегу земля дрожала от взрывов, широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами: земля, небо, Волга — все было охвачено пламенем. И сердце чуяло — здесь идет битва за судьбы мира, здесь решается вопрос всех вопросов, здесь спокойно, торжественно среди пламени сражается наш народ.

20 октября 1942 года

Власов

Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Темная вода бежит под облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец утюжит тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полоску берега, почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?

Здесь переправа. И, едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, карежили огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.

В сумерках появляется темный высокий силуэт негруженой баржи. Хозяйским хриплым баском покри-

кивает буксирный пароходик. Словно по чьему-то слову чудесно оживает все вокруг, жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, покряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает все ниже и ниже. А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят темной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голося, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания. Погрузка идет стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнем немецких минометов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушенный, кажущийся издали печальным, звук человеческих голосов: «а-а-а...» — то поднималась в контр-атаку наша пехота. Это протяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг, в котором воедино слились тяжкая будничная работа русского рабочего с доблестью солдата. Все они понимали значение своей работы. Переправа питает сталин-

градские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, пол-
ки пополнений, все идет через переправу. И перепра-
ва работает: идут к Сталинграду баржи, лодки,
тральщики, моторные катеры. Работал до последнего
времени штурмовой мостик, наведенный с острова на
правый берег Волги. Его строили у берега; стук со-
тен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые
бревна, заглушал в людских сердцах тревогу, трудо-
вой гул покрывал шум германских воздушных мото-
ров, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за
трое суток построили мост через Волгу — шестьдесят
пять станов плотов с двумястами балками-поперечи-
нами были скреплены цинковым тросом, прочными
планками, покрыты тесом. Мост завели верхним кон-
цом по течению, и вода стала заносить его на пра-
вый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадца-
типудовый якорь. И когда мост стал подходить к
правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой
мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количе-
ства металла, которое потратили немецкие летчики,
артиллеристы и минометчики на разрушение этого
штурмового мостика, сделанного из сосны и ели,
можно было бы создать конструкцию огромного же-
лезного моста. Тем мужеством, тем самопожертвова-
нием, тяжелым трудом, которые проявили бойцы пон-
тонного батальона при восстановлении разрушаемых
немцами пролетов штурмового мостика, держится
связь страны с борющимся Сталинградом. Эта связь
прочна и нерушима, ей порукой солдатская кровь и
большие трудовые руки.

Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы.
Живут ярославцы на редкость дружно, большим
братским землячеством.

Заместитель командира батальона по политической
части Перминов, сам волгарь, человек с темнокрас-

ным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов, он даже во время бесед говорит, словно команду отдает.

— Эх, не люди у нас в батальоне,— говорит Перминов,— я даже не знаю, золото-люди. Гордятся: мы — ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили — обсуждали. Как петухи гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе — горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит,—поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов,— глохнешь от этого воя и рева, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что, заикнитесь только об откомандировании человека,— трагедия будет. Эвакуировали мы на-днях в тыл двух раненых красноармейцев — Волкова и Лукьянова, особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слез, и зло берет: ведь удрали, черти, из госпиталя. Что с ними тут делать,— их ведь лечить надо, а под огнем, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.

Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустынна Волга, темная вода бежит под облач-

ным осенним небом,— холодом веет от нее. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов.

С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством карежущей землю.

— Как можно спать при такой бомбежке? — спрашиваю я бойцов.

— Да вот спим,— говорят понтонеры,— день не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и все равно заснешь.

Люди на этом раскаленном берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминанья о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным.

А русский человек, воюющий в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда,— такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипятит чаек среди развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.

И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная, прекрасная своей святой будничностью, жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб не дай бог не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».

И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.

Немцы все неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:

— Разрешите доложить, кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами, двухсоткой, прямым попаданием!

— Немедля варить второй обед в котле,— сказал Перминов.

Жизнь упряма, крепок наш человек, — его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть

идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба кладбище. Среди желтых опавших листьев стоят строгие холмики — могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти. Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника — чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.

Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы, что события его жизни, его черты характера выражают собой характер целой эпопеи. И, конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованных ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, — и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.

В этом высоком человеке, с темнокоричневым узким горбоносым лицом, с тонкими губами и большими, тяжелыми кистями рук, воплотились многие черты народного характера. Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда — очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядя-

щими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня, я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»

Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах,—уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал, уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне, за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой. Провожали его родные без водки, без песен,— Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стиранных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню,— человек могучей аввакумовской души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе. Такие суровые души выковываются тяжким молотом векового труда, и можно было бы их назвать жесткими, не будь они столь бескорыстно преданы правде, труду и долгу. Таких людей, как Власов, не мало в нашем народе, и вряд ли думали немцы о них, начиная поход против России,— эту железную аввакумовскую породу невозможно ни согнуть, ни сломать. Они, Власовы,—выразители не доброты и мягкости народного характера, они — носители суровости, не-

примиримости, неистребимой, неистовой силы русской народной души.

И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступленной, жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже — Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.

Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся на контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.

Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.

Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый,

и немец, едва увидев катер, открыл огонь,— вода вскипала от частых разрывов.

Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:

— Вылезайте, на тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.

Как только ни просил, ни уговаривал его Власов!

— Вылазь к чертям собачьим,— кричал Ковальчук,— я на переправе работать не буду, лучше в плен попасть, чем здесь работать.

Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:

— Знал бы я мотор, я бы его живо спéшил... Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут,— дезертиры вы, говорят. Пришлось хитрость делать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что... Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал...

Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щеки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа...

— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у

товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!

И вот сержант Власов стоит на носу тяжелой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идет днем, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.

Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с черными, начавшими серебриться, волосами, говорит молодому бойцу:

— Ничего, сынок. Хоть бойсь, не бойсь,— нужно!

Тяжелая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударилось о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев...

— Сейчас угодит, подлец, по нас,— сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта.

Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжелого топота сапог, страшней, чем разнесшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла посредине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды,— плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напружилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину,— втиснул свернутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на нее грудью.

Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся темной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.

Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» — это загорелись бутылки с горючей жидкостью.

Власов, покоривший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:

— Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!

И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.

Власов прошел на нос и снова стал на посту. Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.

Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.

1 ноября 1942 года

Царицын—Сталинград

«Рабочие и крестьяне, честные трудящиеся граждане всей России! Настали самые трудные недели. В городах и во многих губерниях истощенной страны нехватает хлеба. Трудящееся население охватывается тревогой за свою судьбу. Враги народа пользуются тем тяжким положением, до которого они довели страну, для своих предательских целей: они сеют смуту, куют оковы и пытаются вырвать власть из рук рабочих и крестьян. Бывшие генералы, помещики, банкиры поднимают головы. Они надеются на то, что пришедший в отчаяние народ позволит им захватить власть в стране...» Этими словами начинается один из самых ярких и сильных документов революции, подписанный Лениным и Сталиным и опубликованный 31 мая 1918 года в «Правде».

Четверть века отделяет нас от того времени, когда рожденная в дыму и огне мировой войны молодая республика билась за жизнь. 18 февраля 1918 года германская армия начала наступать. В начале мая немецкие оккупанты захватили всю Украину, Крым и Белоруссию. Фельдмаршал Эйхгорн устроил свою резиденцию в Липках, самом красивом районе одного из красивейших городов Европы — Киева. На Дону правил генерал Краснов. Деникин шел во главе добровольческой армии на Кубань, к Екатеринодару. В Грузии правили меньшевики, а немцы, приглашен-

ные ими, хозяйничали в Тифлисе, подбирались к Баку.

В руках восставших чехословацких эшелонов находились летом 1918 года Ново-Николаевск, Челябинск, Омск, Уфа, Пенза, Самара, Симбирск, Екатеринбург. В Сибири организовалось белогвардейское правительство. Контрреволюционное восстание произошло в Ярославле. Деревня была охвачена брожением. Голод и эпидемии вместе с контрреволюционными войсками штурмовали центральные районы Советской Страны.

Казалось, горящая земля колебалась, обваливалась под ногами. Народ, измученный трехлетней войной, народ, проливший реки крови, истерзанный разрухой и голодом, вновь поднимался на войну за свою честь, свободу, землю.

Огромные тяжкие клещи контрреволюции вот-вот должны были сомкнуться вокруг Москвы и Петрограда. Враги двигались с севера и юга, с востока и запада. Сомкнись эти клещи, Советская Страна, лишенная своих продовольственных ресурсов, вынуждена была бы занять круговую оборону перед фронтом всех враждебных революции сил. И последней крепостью советской власти, вставшей на пути немецких оккупантов и действовавших их оружием войск генерала Краснова, был город на Волге — Царицын.

В Царицыне должно было сомкнуться тяжкое кольцо вражеского окружения. Это хорошо понимали великие стратеги великой революции. Царицын, кроме того, лег на пути германского империализма, стремившегося к Каспийскому морю, Баку, на пути в Месопотамию, Аравию и Иран.

Был жаркий август. По ночам все ясней слышалась артиллерийская стрельба. Войска Краснова рвались к Царицыну. В середине месяца положение обо-

стрилось. Красновцы вышли к Волге северней и южней Царицына, охватив город в кольцо. Бои шли непосредственно в предместьях города — в Гумраке, Воропонове, Садовой. Лучи прожекторов по ночам освещали улицы. Тревожно и протяжно выли заводские гудки — рабочие завода Дюмо, орудийного завода, рабочие огромных лесопильных заводов бр. Максимовых, нефтеперегонного завода Нобеля шли тысячами защищать свой родной город. Железным ядром царицынской обороны стали рабочие. Здесь, рядом с царицынскими пролетариями, сражались бойцы коммунистической дивизии, сплошь состоящей из донских рабочих: шахтеров и металлистов. Сюда пришли они тяжким путем, отбиваясь день и ночь от наседавших на них белогвардейских войск, кровью своей восстановили под огнем артиллерии взорванный мост через Дон и соединились с царицынскими рабочими, чтобы разделить с ними тяжкие труды по обороне города. Сюда впоследствии пришел Рогожско-Симоновский рабочий полк, сформированный на «Гужоне» и «Динамо». Здесь были Сталин и Ворошилов.

15 августа 1918 года был критическим днем в обороне города. Многим положение казалось безвыходным и безнадежным. В семь часов вечера 15 августа Военный совет за подписью Сталина и Ворошилова писал:

«Совет Народных Комиссаров и все революционные соседи с горячим вниманием и возможным содействием следят за героической борьбой красного Царицына за глубочайшие интересы всей советской России, а также за свое избавление от нашествия красновских банд.

Спасение красного города зависит от дальнейшей стойкости, дисциплинированности, сознательности, вы-

держки и кипучей самодеятельности советских кругов.

Положение города остается осадным».

Ожидаемая из Астрахани помощь не пришла — в Астрахани вспыхнуло контрреволюционное восстание. 18 августа в два часа ночи было назначено контрреволюционное восстание в Царицыне. Заговор был раскрыт ЧК. Красноармейская газета «Солдат революции» в экстренном выпуске от 21 августа сообщала своим читателям: «В Царицыне раскрыт крупный заговор белогвардейцев. Видные участники заговора арестованы и расстреляны. У заговорщиков найдено 9 миллионов рублей. Заговор в корне пресечен мерами советской власти. Берегитесь, предатели! Беспощадная расправа ожидает всех и каждого, кто посягнет на советскую рабоче-крестьянскую власть».

Красновцы делали все, чтобы захватить город, взорвать власть изнутри. Но город выстоял. Великими жертвами, бессонными ночами, большой кровью, тяжким трудом рабочих, железной сталинской волей был отбит первый натиск враждебных сил, разбито кольцо окружения, восстановлены пути сообщения. Славно бились Луганский и Сиверский рабочие полки, бронепоезд Алябьева стремительно появлялся то на северном, то на южном участке фронта. Много крови пролили царицынские рабочие, комсомольцы, коммунисты, дни и ночи крушила врага красная артиллерия. 22 августа наши войска заняли деревни Пичугу и Ерзовку. Ночью 26-го наши части ворвались на станцию Котлубань, захватили трофеи и разгромили штаб Мамонтова. В этот день Сталин телеграфировал в Москву Пархоменко: «Положение на фронте улучшилось. Везите немедля все, что получили. Сталин». Здесь, конечно, невозможно последовательно восстановить все события первого и второ-

го окружения Царицына 1918 года, деникинско-врангелевского похода на Царицын в 1919 году.

Когда думаешь о жизни этого города, о его суровой и благородной доле, связанной с тяжелыми молодыми днями советского государства, то ясно вырисовываются основные черты характера и судьбы Царицына. У города, как и у человека, своя судьба. Есть люди, чьим высоким уделом является тяжкий жребий войны. И, когда видишь такого человека где-нибудь в театральном зале, на выставке картин или в кругу семьи, в легких туфлях, в косоворотке, светлом летнем костюме, невольно угадываешь в быстром и резком повороте, во внезапно на мгновенье ставшем суровом взгляде, в властном, спокойном слове, что судьба рано или поздно приведет этого человека к тяжким лишениям, к походам, к сухому солдатскому сухарю, угадываешь этого человека в дыму и пламени сражения.

Царицын—Сталинград,— город, стоящий на великом волжском рубеже, город между севером и югом, город, за спиной которого пески и степи Казахстана, город, широкой грудью своей обращенный к западу, к хлебным богатствам Дона и Кубани,— избрал себе гордый удел быть твердыней революции в роковой час народной судьбы.

Двадцать четыре года прошли с того времени, когда Царицын, выдержав напор врага, не дал соединиться черным силам, шедшим с юга и севера, и, словно занесенная тяжкая секира, поднялся над рвавшимися с запада на восток немцами.

Прошли два десятилетия мирного строительства. Заросли травой окопы под Гумраком, Воропоновым, Бекетовкой. Деревья выросли там, где скрипели обозы. Ушли из жизни старики рабочие, участники царицынской обороны. Стали седыми когда-то черно-

волосые рабочие-добровольцы. А те, кто босоногими мальчишками бегали среди дымившихся котлов красноармейских кухонь, кто подбирал стреляные гильзы и играл в войну там, где шла война, стали взрослыми людьми, отцами семейств, большими людьми советской державы.

Стремителен был рост людей Сталинграда, стремителен был рост самого города за годы мирной советской жизни. На гигантах заводах — Тракторном имени Дзержинского, «Красном Октябре», «Баррикадах» работали десятки тысяч человек. Возникла судоверфь, Сталгрэс, реконструировались старые предприятия, возникли десятки новых заводов.

В городе, где в начале века были две гимназии, одна библиотека, один сиротский приют и четыреста кабаков, к исходу двух десятилетий мирной советской жизни возникли прекрасные вузы с знаменитой профессурой — механический, медицинский, педагогический, где учились пятнадцать тысяч студентов, возникли десятки техникумов, сотни школ, библиотеки, музеи.

Город песчаных бурь и пыли весь был заасфальтирован, вокруг него выросло двадцатикилометровое зеленое кольцо, сотни гектаров фруктовых садов, кленовые и каштановые аллеи.

Город приземистых одноэтажных и двухъэтажных домов, кривых улиц стал городом великолепных высоких белых зданий, городом классической планировки, городом широких площадей, украшенных памятниками, площадей, обрамленных зеленью деревьев и пестрым узором цветников. Сотни заботливых рук мели, чистили, поливали улицы Сталинграда. Из города песчаных бурь Сталинград превратился в город ясного волжского воздуха, город солнца и здоровья.

Ночью с Волги Сталинград казался огромной шестидесятикилометровой гирляндой яркого электрического света, красиво светились цветные рекламы магазинов, театров, кино, цирков, ресторанов. Музыка, усиленная радиорупорами, слышалась далеко над Волгой. Городом гордились, город любили — и правда, Сталинград стал одним из прекраснейших наших городов: городом труда, науки, жаркого солнца, широкого простора, городом Волги.

Сталинградцы любили свой город особенной, преданной и верной любовью за тот непомерный труд, за жертвы и лишения, которые испытали они в период строительства. Это были великие десятилетия. Некоторым людям теперь, во время войны, прошедшее мирное время кажется спокойной, безоблачной идиллией. Это неверно, конечно. В суровых условиях напряженного труда прошло это время, немало бурь перенесла наша страна, не легко далось ей выполнение великих планов коллективизации и индустриализации.

И сталинградцы помнят суровую пору строительства Тракторного завода, первого гиганта первой пятилетки. Враждебным, холодным взором следила заграница за строительством. Сколько сверхчеловеческих усилий воли, какое напряжение ума! И сколько трудностей, неполадок, сколько рабочего пота!

Вся страна следила за сталинградской стройкой, радовалась ее успехам, скорбила о неудачах. 17 июня 1930 года завод был открыт. Начался период освоения сложнейшей, неведомой дотоле России техники поточного производства. Новые острые трудности, новая напряженная борьба. Иностранные газеты предвещали гибель молодому заводу. Они писали: «Ввиду провала Сталинградского тракторного Советскому Союзу снова придется закупать тракторы за границей».

Большой и малый конвейеры то и дело останавливались, пролеты не давали деталей. За первый год завод выпустил всего 1002 трактора, в 1931 было выпущено 18 410, в 1932—28 772 трактора, вскоре эта цифра подошла к 50 000! Трудности остались позади. Любимый народом, первый гигант первой пятилетки заработал полным ходом.

Когда экскурсионные пароходы приближались к прекрасному белому городу на Волге, отдыхавшие на палубе люди видели не только тысячи сверкающих на солнце окон, зеленые сады, слушали музыку и шум трамвайных и автомобильных гудков, они видели черный дым, поднимавшийся над тремя гигантами: Тракторным, «Октябрем», «Баррикадами», они видели, как сквозь задымленные окна цехов лилась в искрах сталь, слышали тяжелый грохот, подобный грозному морскому прибою. Это красный Царицын, это Сталинград напоминал людям, что он знает свою судьбу русской крепости на Волге, что он готов принять тяжелый и гордый свой удел в роковой час народной судьбы, что он не забыл заросших травой окопов над Гумраком, над Вороноповым, над Садовой и Бекетовкой...

Днем 23 августа 1918 года по приказу Ворошилова рабочие шахтерские полки Коммунистической и Морозовско-Донецкой дивизии перешли в наступление на центральном участке фронта, у Воропонова; они кровью своей и жизнью отбрасывали наседавшего на город противника. Это было 23 августа 1918 года. 23 августа 1942 года, в пять часов дня, ровно через двадцать четыре года, восемьдесят тяжелых немецких танков и колонны мотопехоты прорвались к детищу сталинградцев — Тракторному заводу. Одновременно с этим сотни бомбардировщиков обрушили мощный бомбовый удар на жилые кварталы Сталинграда. То

был первый натиск фашистских полчищ, почуявших волжские рубежи.

Город запылал, окутался дымом, огромное пламя поднялось к небу. И словно не было двух десятилетий мирного труда между временами первой германской оккупации Украины, Дона и вторым нашествием немцев. И вновь в дыму, в грохоте битвы встал красный Царицын—Сталинград, город прекрасной и горькой судьбы.

Нельзя даже сравнивать силу немецкого удара в августе 1942 года с силой натиска красновцев в 1918 году. Удары танковых дивизий, страшный огонь тысяч орудий и минометов, ожесточенные налеты воздушных армий — вряд ли в истории даже последней войны были удары подобной силы. Все изменилось в ведении войны за эти десятилетия. Не так выглядело поле сражения, не так шло управление боем, не такими средствами осуществлялись огневые удары. Стремительно маневрировали танковые и моторизованные войска. Шли в воздухе бои, которых никто не мог представить себе в 1918 году. Небо и земля взаимодействовали, огромные массы людей и металла стремительно перебрасывались самолетами с одного участка фронта на другой. Все изменилось, все было иначе — огромней, сильней, стремительней. И лишь одно оставалось неизменным, таким, словно не люди нового поколения вышли на оборону Сталинграда,— мужественное сердце великого народа. Сердца Якова Ермана, Николая Руднева, Алябьева не переставали биться! В страшный час, когда восемьдесят немецких танков внезапно подошли к окраине Тракторного завода, а сотни самолетов жгли жилые кварталы города, рабочие Тракторного завода и «Баррикад» продолжали свою работу. Сто пятьдесят пушек выпустил завод в одну ночь, восемьдесят танков были

выпущены из ремонта с 23 по 26 августа. В первую ночь сотни рабочих, вооружившись автоматами, станковыми и ручными пулеметами, заняли оборону у северной окраины завода. Они дрались рядом с дивизионом тяжелых минометов лейтенанта Саркисьяна, первым остановившим немецкую танковую колонну. Они дрались рядом с зенитчиками подполковника Германа, половиной своих орудий бивших по немецким пикировщикам, а половиной прямой наводкой расстреливавших немецкие танки. Бывали минуты, когда гул бомбовых разрывов поглощал все звуки, и подполковнику Герману казалось, что выдвинутая вперед батарея лейтенанта Свистуна раздавлена совместным натиском немецкой авиации и танков. Но через некоторое время вновь слышалась размеренная стрельба зенитных орудий. Сутки продержалась батарея, не имея связи с командованием полка. К вечеру 24 августа четверо бойцов вынесли раненого Свистуна. Они были единственными уцелевшими. Но первый натиск противника был отбит. Немцам не удалось взять город с ходу. Началась борьба на подступах, на улицах города, на площадях, в рабочих поселках, на территории цехов сталинградских заводов-гигантов.

Семьдесят дней идет борьба в самом Сталинграде, сто дней длится борьба,— если считать бои на дальних подступах к городу. Железными буквами нужно навечно записать в историю Советской Страны имена знаменитых снайперов Чехова и Зайцева, имена тридцати трех героев, отразивших атаку колонны тяжелых танков, имена рабочих добровольцев Токарева и Полякова, имя комиссара противотанковой бригады Крылова и многих, многих летчиков, танкистов, минометчиков, стрелков, имя девушки сталевара Ольги Ковалевой, имя сержанта Павлова, кото-

рый уже пятьдесят дней со своим отделением держит дом у одной из центральных площадей Сталинграда. «Павловский дом» называется в официальных сводках это здание. Их кровью, их волей, их мужеством держится Сталинград.

Потери германской армии огромны, количество убитых и раненых немцев приближается к двумстам тысячам. Тысяча танков, больше тысячи орудий и самолетов превращены в груды металлического лома. Но если можно восстановить потери в технике, если можно пригнать на убой новые толпы немецких солдат, то нет в мире силы, которая вернула бы немцам потерянные три месяца, нет уже способа восстановить рухнувший темп летнего наступления. Тактический успех германского летнего наступления не увенчался главным стратегическим результатом. Движение на восток и на юг приостановлено. Волжская крепость выстояла. Город, избравший своим гордым и тяжким уделом быть крепостью русской революции, город, сумевший на первом году республики сдержать натиск врага, сейчас, в пору ее двадцатипятилетия, снова сыграл решающую роль в ходе Великой Отечественной войны.

И вот он лежит в развалинах, то дымящихся и теплых, как еще не остывшее тело, то холодных и мрачных. Ночью луна освещает рухнувшие здания, расщепленные пеньки срезанных снарядами деревьев, пустынные асфальтовые площади в зеленоватом холодном лунном свете блестят, точно покрытые ледком озера, и, словно проруби, темнеют на них огромные ямы, пробитые фугасными бомбами. Молчат развороченные снарядами заводские цехи, не дымят трубы, могильными холмами возвышаются цветники, украшавшие заводские дворы. Город мертв? Нет, город жив! Даже в короткие минуты затишья в каждом

разрушенном доме, в каждом цехе завода идет напряженная жизнь. Зоркие глаза снайперов высматривают врагов; ходами сообщений, среди развалин, несут снаряды, мины, патронные ящики; наблюдатели, засевшие в верхних этажах, ловят каждое движение противника. Командиры сидят, склонившись над картами, в подвалах, писари переписывают донесения, политработники читают бойцам доклады, шуршат газетные листы, трудолюбиво делают свое опасное дело саперы. Кажется, что безлюдны, пустынны и мертвы развалины. Но вот из-за угла медленно и осторожно появился немецкий танк. Тотчас же не спящий ни днем, ни ночью бронебойщик дает выстрел по фашистской машине. Немецкий пулеметчик, прикрывая танк, начинает бить из окна дома по кирпичному прикрытию бронебойщика. Наш снайпер, сидящий на втором этаже соседнего дома, прикрывая своего бронебойщика, бьет по пулеметному гнезду немцев. Видимо, немец ранен, а может быть, и убит — пулемет замолкает. И тотчас же гремят разрывы немецких мин — красные куски кирпича летят со стены дома, в котором притаился снайпер,— это немцы мстят за пулеметчика. Наш наблюдатель сообщает данные о немецкой батарее, и советские пушки, до этого молчавшие в окнах, парадных дверях домов, открывают огонь. Немецкий танк улепетнул, снова ушел за угол дома. Быстро меняют свои позиции снайпер, бронебойщик, легкие полковые пушки. Так бывает в редкие минуты затишья.

А большей частью дома, площади, заводы грохочут огнем, взрывами. Не легко сейчас жить в Сталинграде.

Передо мной лежит обрывок бумаги, исписанный карандашом: это полученное недавно донесение в штаб батальона от командира роты. Вот текст его:

«Вр. 11,30. Гв. ст. лей-ту Федосееву: Доношу — обстановка следующая: противник старается окружить мою роту, засылает в тыл автоматчиков, но все его попытки не увенчались успехом. Гвардейцы не отступают. Пусть падут смертью храбрых бойцы и командиры, но противник не должен пройти нашу оборону. Пусть знает вся страна 3-ю стрелковую роту; пока командир жив, фашистская сволочь не пройдет. Командир 3-й роты находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров. На слух оглушен и слаб. Происходит головокружение, и он падает с ног, происходит кровотечение из носа. Несмотря на все трудности, гвардейцы 3-й роты не отступают назад, погибнем героями за город Сталина. Да будет врагам могилой советская земля! Надеюсь на своих бойцов и командиров, через мой труп ни одна фашистская гадина не пройдет. Калеганов».

Нет, великий город не умер! Земля и небо содрогаются от гула нашей могучей артиллерии, сражение идет с той же силой, как два месяца тому назад. Десятки тысяч живых сердец мерно и сильно стучат в сталинградских домах — это сердца сталинградских рабочих, донецких шахтеров, горьковских, уральских, московских и ивановских, вятских и пермских рабочих и крестьян. Об эти железные сердца разбились немецкие атаки. Эти сердца самые верные в мире.

Никогда Сталинград не был так велик и прекрасен, как теперь, когда, обращенный в развалины, он торжественно славится свободолюбивыми народами мира. Сталинград жив. Сталинград борется. Да здравствует Сталинград!

5 ноября 1942 года

Глазами Чехова

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые, глаза,— не поймешь, светлые они или темные,—видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «не слышу».

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил невеселую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих стариков своей готовностью помочь обиженному, он с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил, жестоко

и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.

— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому,— говорит он.— Ну, я, хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».

Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела, он понял внутренний теоретический принцип всех приспособлений: и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающегося при прицеливании, с горизонтальными нитями... И объемное, широкое, четырехкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого ору-

жия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором—учить курсантов и снайперской, и обычной стрельбе, и пользованию автоматом, и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.

— Я хотел лишь стать таким человеком, который сам уничтожает врага,— сказал мне А. Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на-глаз с точностью до двух-трех метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и выгнутых линз. Самый идиллический пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров: березки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, и помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.

Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходи-

лось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать — думать напряженно, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.

С первых же дней боев он перестал воспринимать сражение как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник.

— Было ли страшно в первые дни? Нет. У меня такое чувство было, что я учу бойцов маскироваться, стрелять, наступать, словно это и не война.

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость — это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляют усилием воли, подняв голову, выполнять долг, итти навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».

Капитан Козлов человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти и ему все равно, придет к нему смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости — это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под постоянным огнем. У большинства в подоснове мужества и презрения к смерти лежит чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесенные оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на

них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал:

— Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить.

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр посвоему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважный отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я еще одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти — так же, как орлу чужд страх перед высотой.

Он получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы двуспальных супружеских кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на

стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города. Чехов сделал выбор — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые коробки, этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвертого — фисташковой с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в шести-семистах, начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него,— он становился совершенно невидим в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный узор перил. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было немало. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это странное чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и

вспоминавший о своем первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темно-синим. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная,— толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх куцавеек сыновьи пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов

приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят?» — подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз. В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцовальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой картину мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел,— мне и читать, и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел»,— печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:

— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды и положил в карман несколько сухарей, и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, он отнес прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но он не прошел. «Три»,— сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок,— туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение. Он определил дорогу, по которой немцы подносили

боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку — Чехов знал их меню, утреннее и дневное: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно тридцать — сорок минут и после кричали хором: «Русс, обедать!» Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки, они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки — «жалел бить по живому», стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно, изо всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точ-

но в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать — двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост, он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утренний солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором: «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Русс, ужинать!»

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншейкам подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле»,— подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразурку. Вчера ее не было. Чехов понял: «Немецкий снайпер».

«Гляди»,— шепнул он сержанту, пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно в траншею.

— Вот я вогнал тебя в землю,— сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на умерщвленный немцами Сталинград,— юноша, жалевший бить «по живому» из рогатки, ставший железной и святой логикой Отечественной войны, страшным человеком, мстителем.

16 ноября 1942 года

Направление главного удара

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидали люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять на смерть. За спиной была холодная темная Волга. Ночью саперы взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалева обороняли завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходившем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские поселки к Волге. «Логом смерти» на-

зывали ее бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная темная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять на смерть. Прошлая мировая война стоила России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне черная сила противника делилась между западным фронтом и восточным. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двигались от моря до моря. В нынешнем, 1942 году, немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распределялось на два фронта великих держав, что в прошлом году давило на Россию, на одну лишь Россию фронтом в три тысячи километров, нынешним летом и нынешней осенью тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ. Но, мало того, здесь, в Сталинграде, немцы вновь заострили свое наступательное давление. Они стабилизировали свои усилия в южных и центральных частях города. Всю огневую тяжесть бесчисленных минометных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады». Немцы полагали, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма — тяжелые и огнеметные танки, шестиствольные минометы, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными, фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и минометчиков — термитными снарядами.

Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжелых дальнобойных пушек. Здесь бросали мины, похожие на безобидные зеленые и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объемом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днем было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещей грохота битвы. И если мир склоняет головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом Сталинграде, бойцы Шумилова с почтительным уважением произносят:

— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.

Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, кряжистый, и они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллери-

стом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.

Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши, все же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил ее в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли рас-

стояние в двести километров, и все же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждились на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимце полка, по-отечески заботливом к подчиненным, мягком и «симпатичнейшем человеке», не знающем, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением,— и все же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и

застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в заволжьи огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов без единой минуты перерыва шли волна за волной немецкие самолеты, восемь часов выли сирены, свистали бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские и минометные батареи, и мало кто спал в эту ночь.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слезы на глазах седых людей.

«Какая судьба, какая судьба!»— говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.

Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землей, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в черном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешел в наступление. Батальоны шли вперед через горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, и они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Полк Маркелова прошел

километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это — тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжелые танки, и пулеметы заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, по-батальонно.

Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали свое дело.

На третий день немецкие самолеты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «Юнкерсов» и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые налеты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали минометные батареи. Это было направление главного удара.

По нескольку раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, минометы, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки горючей жидкости, бронебойщи-

ки раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатометчики ближе подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная, тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповещали о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.

Иногда немцы подходили на расстояние тридцати—сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того, как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и минометов. В отражении немецких атак великую заслугу имела наша артиллерия. Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей: она прикрывала стальным плащом пехотные позиции, она карежила, как картон, сверхтяжелые немецкие танки, с которыми не могли справиться бронебойщики, она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков, она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие минометные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.

В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда немецкие танки и двести двадцать три раза шли в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, немецкая авиация висела над дивизией десять-двенадцать часов. Всего за месяц триста двадцать часов. Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это — цифра с четырьмя нолями. Такой же цифрой определяется количество немецких самолето-налетов. Все это происходит на фронте длиной около полутора-двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь и уничтожить государство. Немцы полагали, что сломают моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильней и спокойней. Молчаливый, кряжистый сибирский народ стал еще суровей, еще молчаливей, ввалились у красноармейцев щеки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни веселого легкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью услышал слова бойца, тихо сказавшего ему:

— Есть у нас все, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот грамм, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-на-

стоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боев. Еще прочней и совершенней стала оборона. Перед заводскими цехами выросли целые переплетения саперных сооружений, — блиндажи, ходы сообщения, стрелковые ячейки, инженерная оборона была вынесена далеко вперед, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные маневры, сосредотачиваться, рассыпаться, переходить из цеха в окопы ходами сообщения и обратно, в зависимости от того, куда обрушивала свои удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появлялись танки и пехота атакующих немцев. Были сооружены подземные «усы», «щупальцы», по которым истребители подбирались к тяжелым немецким танкам, останавливающимся в ста метрах от здания цехов. Саперы минировали все подходы к заводу. Мины приходилось подносить на руках, по две штуки, держа их подмышками, как хлебы. Этот путь от берега к заводу имел протяжение шесть-восемь километров и полностью простреливался немцами. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предрассветные часы, часто на расстоянии тридцати метров от фашистских позиций. Так было заложено около двух тысяч мин под бревна разнесенных бомбежкой домиков, под кучки камней, в ямки, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие дома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжелыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслопроводов,

водопроводов. С каждым днем совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазастые пушки, мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.

Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого сталинградского рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, приносили под огнем на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далеких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномет «дурилой», а пикирующих бомбардировщиков с сиренами «скрипунами» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, русс, буль-буль, сдавайся», они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец все гнилую воду пьет, или не хочет волжской?» Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушие к смерти, их

спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.

Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всем. Героизм был в работе поваров, чистивших под сжигающим огнем термитных снарядов картошку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц — Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лели Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть глазами со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику», в то время как десяток немецких пикировщиков с ревом бодали землю, и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землей и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся, и в том, как машинистка штаба, краснощекая толстуха — сибирячка Клава Копылова, начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и все же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара.

Об их несгибаемом упорстве больше всего знают

сами немцы. Ночью в блиндаж к Свирину привели пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно черные от грязи, превратившийся в тряпку шерстяной шарф прикрывал шею. Это был немец из пробивных отборных частей немецкой армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов пленному перевели вопрос Свирина: «Как расценивают немцы сопротивление в районе завода?» Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О!»—сказал он и вдруг разрыдался.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.

К концу второй декады немцы предприняли решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжелые минометы и артиллерия. Три дня и три ночи превратились в хаос дыма, огня и грохота. Шипение бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дурил», гул тяжелых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей, но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же в пять утра в атаку перешли тяжелые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные немецкие полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишенная управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены уничтожению, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блин-

даж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжелый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага. Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномета. Любимец дивизии, командир полка Михалев, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. «Убило нашего отца», — говорили красноармейцы. Сменивший Михалева майор Кушнарев перенес свой командный пункт в бетонизованную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вел бой у входа в эту трубу Кушнарев, его начальник штаба Дятленко и шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот невиданный по ожесточенности бой длился, не переставая, несколько суток. Он шел уже не за отдельные дома и цехи, он шел за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок, за пролет между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармейцев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапер Косиченко, выдергивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся

в живых, и бывали такие минуты, когда десять активных штыков успешно держали оборону, занимаемую батальоном. Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их. В этом бою немцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. В этом бою немцы достигли максимального напряжения атак. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Словно подняв непомерную тяжесть, они надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Кривая немецкого напора начала падать. Три немецких дивизии — 94-я, 305-я, 389-я дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоило сто семнадцать пехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческое напряжение. Две тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор и цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать еще об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Дух спартанской скромности свойствен всему командному составу дивизии. Он сказывается и в бытовых мелочах, и в отказе от положенных законом ста граммов водки во все время сталинградских боев,

и в разумной, нешумливой деловитости. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал ее в словах красноармейца из полка Михалева, ответившего на вопрос: «Как живется вам?» — «Эх, как живется,— остались мы без отца».

Я увидел ее в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя»,— тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками пошел навстречу худой стриженой девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемет, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.

Жены и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память павших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим преград наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.

20 ноября 1942 года

По дорогам наступления

По Волге идет лед. Льдины шуршат, сталкиваясь, крошатся, лезут друг на дружку. Этот сухой, напоминающий шуршание песка, шопот слышен за много саженей от берега. Река почти вся сплошь покрыта льдом, лишь изредка в белой широкой ленте, плывущей среди темных бесснежных берегов, видны пятна воды. Белый волжский лед несет на себе стволы деревьев, бревна. Вот на ледяном холме сидит, насупившись, большой ворон. Его чернота видна даже на фоне темной полыньи. Вчера здесь проплыл мертвый краснофлотец в полосатой тельняшке. Матросы с грузового парохода сняли его. Мертвый врос в лед. Его с трудом оторвали. Он словно не хотел уходить с Волги, где воевал и погиб. Необычайно странно выглядят волжские пароходы и баржи среди льдов. Черный дым пароходных труб подхватывается ветром, стелется над рекой, цепляется, рвется в клочья на поднимающихся дыбом льдинах. Тупые широкие носы барж медленно подминают под себя светлую ленту, темная вода за кормой снова покрывается идущим от Сталинграда льдом. Никогда еще в такую позднюю пору не работали волжские пароходы. «Это наша первая полярная навигация», — говорит капитан буксирного парохода. Не легко работать во льдах, часто рвутся буксирные канаты, матросы рубят молотами тяжелые тросы, балансируя, перебегают по зыб-

ким колеблющимся льдинам. Капитан, с длинными седыми усами, с темнокрасным от ветра лицом, кричит осипшим голосом в рупор. Пароход, покряхтывая от напряжения, подбирается к затертой льдом барже. Но день и ночь работает эта переправа — везут баржи боеприпасы, танки, хлеб, лошадей. И если грозная переправа, переправа огня, там наверху, у города, обеспечивает сталинградскую оборону, то эта нижняя переправа, переправа льда, обеспечивает сталинградское наступление.

Девяносто дней штурмовали главные немецкие силы дома и улицы, заводы и сады Сталинграда. Девяносто дней отражали дивизии, защищающие город, невиданный натиск тысяч немецких орудий, танков, самолетов, сотни жестоких атак выдержали бойцы Родимцева, Горохова, Гуртьева, Батюка. Их волей, их железными сердцами, их большой кровью отбивал Сталинград натиск врага. Все тесней сжималось кольцо вокруг нашей обороны, все трудней становилась связь с луговым берегом, все упорней удары. Тяжелым месяцем был август в обороне города. Тяжелее было в сентябре, еще бешеней стал напор немцев в дни октября. Казалось, нехватит человеческих сил, чтобы устоять в огне, бушевавшем над городом. Но красноармейцы выдержали — может быть, для этого понадобились сверхчеловеческие силы. Но нашлись в грозный час в нашем народе эти сверхчеловеческие силы. Рубеж волжской обороны не был пройден врагом. Пусть же наше наступление будет достойно сталинградской обороны, пусть оно будет живым, грозным огневым памятником тем, кто пал, обороняя Волгу, Сталинград. Когда мы переправлялись через Волгу, пароходы буксиоовали мимо нас баржи, полные пленных румын. Они стояли в худых зеленых шинелишках, в белых высоких шапках и притопты-

вали ногами, терли замерзшие руки. «Вот они и увидели Волгу», — говорили матросы. Румыны угрюмо смотрели на воду, на шуршащий лед, и по лицам их было видно, что мысли у них невеселые, как эта черная зимняя вода. Все дороги к Волге полны пленных. Их видно издалека на ровном просторе темной бесснежной степи, белые шапки колышутся в такт движению. Идут колонны по двести — триста человек, идут небольшие партии в двадцать — пятьдесят пленных. Медленно, отражая своим движением все изгибы степного проселка, движется колонна, растянувшаяся на несколько километров. В ней свыше трех тысяч румын. Эту огромную толпу пленных конвоируют несколько десятков бойцов. Отряд в двести человек идет обычно под охраной двух-трех бойцов. Румыны шагают старательно, некоторые отряды даже держат равнение, идут в ногу, и это смешит встречных. Некоторые пленные довольно хорошо говорят по-русски. Они кричат: «Войны не надо, домой надо. конец Гитлеру». И конвоиры, усмехаясь, говорят: «Как вышли наши танки им в тыл да все дороги перерезали, так закричали сразу — войны не надо, а раньше, небось, не кричали, стреляли, да в деревнях девок портили, да стариков пороли». А пленные все движутся, движутся, идут толпами, погромыхивая котелками, флягами, подпоясанные веревками, кусками проволоки, накинув на плечи пестрые одеяла. И женщины смеясь говорят: «Ну, чисто цыгане кочуют румынцы эти».

Дивизии генерала Труфанова начали наступление туманным утром. Был легкий морозец. Тишина, которая в тумане кажется особенно полной, в назначенную минуту сменилась ревом пушек, протяжным и грозным гулом гвардейских минометных батарей. И едва замолкла канонада, как из тумана появились русские танки, тяжелые машины стремительно взби-

рались на крутые склоны холмов, пехотинцы сидели на танках, бежали следом за ними. Туман скрывал движение машин и людей, с наблюдательного пункта лишь видны были мутные вспышки орудийной стрельбы. Центральную высоту штурмовал батальон лейтенанта Бабаева. Первыми ворвались на гребень высоты заместитель Бабаева лейтенант Матусовский, лейтенанты Макаров и Елкин, бойцы Власов, Фомин и Додохин. Старший сержант Кондрашев вбежал в румынский дот и прикладом винтовки стал бить пулеметчиков. Румыны подняли руки. Когда туман рассеялся, с командного пункта видно было, что центральная высота от низа до самого гребня колышется, дышит движением серых русских шинелей. Одно за другим замолкали тяжелые румынские орудия, стоявшие в лощинах и на обратных скатах холмов. И когда зазуммерили полевые телефоны, когда связные прибежали с донесениями от командиров рот и батальонов о том, что три господствующие высоты взяты штурмом нашей пехоты, в прорыв двинулись танковые и моторизованные полки. Мы едем по следам наступавших танков. Вдоль дорог лежат трупы убитых румын, брошенные орудия, замаскированные сухой степной травой, смотрят на восток. Лошади бродят в балках, волоча за собой обрубленные постромки, разбитые снарядами машины дымятся сизыми дымками, на дорогах валяются каски, украшенные румынским королевским гербом, тысячи патронов, гранаты, винтовки. Вот румынский дзот. Гора расстрелянных закоптившихся патронов лежит возле пулеметного гнезда. В ходе сообщения белеют листки писем, коричневая степная земля стала кирпично-красной от крови. Тут же валяются винтовки с прикладами, расщепленными русскими пулями. А навстречу все время движутся толпы пленных. Прежде чем направлять плен-

ных в тыл, их обыскивают. Смешно и жалко выглядят эти груды деревенских бабьих вещей, которые обнаруживаются в румынских мешках и карманах. Тут и старушечьи платки, и бабьи сережки, и нижнее белье, юбки, и детские пеленки, и пестрые девичьи кофты. У одного солдата нашли двадцать две пары шерстяных чулок, у другого четыре пары совершенно рваных женских галош. Чем дальше мы едем, тем больше брошенных машин, пушек. Все чаще встречаются движущиеся в тыл трофейные машины. Тут и грузовики, и изящные малолитражки, и бронированные транспортеры, и штабные машины. Мы въезжаем в Абганерово.

Старуха крестьянка рассказывает нам о трехмесячном пребывании оккупантов.

— Пусто у нас стало. Курица не заквохчет, петух не закричит. Ни одной коровы не осталось. Некого утром выгонять, некого вечером встречать. Все подчистую румынцы, индюки эти, подобрали. Всех стариков, поди, у нас перепороли — тот на работу не вышел, тот зерна не сдал. В Плодовитой, там старосту четыре раза пороли, сына моего, калеку, угнали, с ним девочка и мальчонка десятый год. Вот четвертый день плачем. Нет их и нет.

Станция Абганерово полна захваченных трофеев. Тут стоят десятки тяжелых пушек и сотни полевых орудий. Их обращенные в разные стороны стволы словно растерянно озираются. Длинными вереницами стоят трофейные автомобили с эмблемами дивизий, затейливо выписанными женскими именами. Станционные пути забиты захваченными нашими войсками эшелонами. Немцы уже успели перешить железнодорожную колею, и на сборных товарных составах можно прочесть названия многих городов и стран, захваченных гитлеровцами. Тут и французские, и

бельгийские вагоны, и польские, но, на каком бы языке ни была сделана надпись, на каждом вагоне жирно напечатан черный имперский орел — символ рабства и насилия. Стоят эшелоны, груженные мукой, кукурузой, минами, снарядами, жирами, укупоренными в большие прямоугольные банки, вагоны с эрзац-валенками на толстой деревянной подошве, с бараньими шапками, технической аппаратурой, с прожекторами. Жалко и нище выглядят санитарные теплушки с наспех сколоченными нарами, покрытыми грязным тряпьем. Бойцы, покряхтывая, выносят из вагонов бумажные эрзац-мешки с мукой, укладывают их на грузовики. На каждом мешке жирно отпечатан орел.

Вечером мы продолжаем наш путь. Идут войска, колышутся черные противотанковые ружья, стремительно проносятся пушки, буксируемые маленькими сильными автомобилями. С тяжелым гуденьем идут танки, на рысях проходят кавалерийские полки. Холодный ветер, неся пыль и сухую снежную крупу, с воем носится над степью, бьет в лицо. Лица красноармейцев стали бронзово-красными от жестокого зимнего ветра. Не легко воевать в эту погоду, проводить долгие зимние ночи в степи под этим ледяным, пронизывающим ветром, но люди идут бодро, подняв головы, идут с песней. Это сталинградское наступление. Настроение армии исключительно хорошее. Все — от генералов до рядовых бойцов — живут ощущением великой ответственности, великого значения происходящего. Дух суровой трезвой деловитости лежит на всех действиях и поступках командиров. В штабах не знают отдыха, исчезло понятие дня и ночи. Высшие командиры и начальники штабов работают четко, серьезно, напряженно. Слышны негромкие голоса, отдающие короткие приказания. Успех велик, успех

несомненен, но все живут одной мыслью — враг окружен, ему нельзя дать прорваться, его нужно уничтожить. Этой ответственной и трудной задаче посвящена вся жизнь, каждое дыхание людей Сталинградского фронта. Не должно быть ни тени легкомыслия, преждевременного успокоения. Мы верим, что сталинградское наступление будет достойно великой сталинградской обороны.

Абганерово.
28 ноября 1942 года

Новый день

Шестнадцатого декабря днем подул сильный северо-восточный ветер. Темные мокрые облака, теряя тяжелую влагу, поднялись вверх, посветлели. Туман стал мерзнуть и оседать белым пухом на проводах военного телеграфа и на низко подстриженных минными осколками прибрежных деревьях. Лужи, стоявшие в снарядных воронках, заковало белыми пластинками льда, ледяной узор пополз по смотровым стеклам грузовиков, обращенных к ветру. Темные тела пудовых мин и тяжелых снарядов, сложенных в ямах у восточного причала переправы, покрылись легким инеем. Земля стала звонкой, воздух просторным. И на западе, над рваным каменным кружевом мертвого города, поднялся красный закат.

Ветер и течение гнали Волгой огромную трехсотсаженную льдину. Она проползла мимо Спартановки, мимо оскверненных врагом развалин Тракторного завода, стала медленно поворачиваться и у «Красного Октября» остановилась, уперлась своими широкими плечами между наледью восточного и западного берега Волги.

В ясное небо, осторожно раздвигая звезды, поднялась луна, и все бывшее в мире белым стало неясным синим и голубым, лишь одна луна оставалась яркой и белой, словно вобрала в себя всю белизну степного снега. А ветер все продолжал дуть — холодный и злой и милый для тысяч сердец.

Течение, сдержанное льдиной, стало искать себе ходов поближе к речному дну, поверхность воды покрылась рыхлой тончайшей корочкой, через несколько часов она упрочилась, закристаллизовалась, и в эту же ночь по трехсантиметровому прогибающемуся и постреливающему льду первым перешел с левого на правый берег Волги сержант саперно-инженерного батальона Титов.

Он вышел на берег, оглянулся на далекое заволжье и стал сворачивать папироску. И в эту минуту, когда Титов, бахвалясь, ответил окружившим его красноармейцам: «Как перешел? Взял да и перешел, чего проще», — именно в эту минуту время перелистнуло величавую и трагическую страницу в книге сталинградской борьбы, страницу, написанную крепкими большими руками с потрескавшейся от ледяной воды кожей, руками сержантов, красноармейцев понтонных и инженерно-саперных батальонов, руками мотористов, грузчиков патронов, всех тех, кто сто дней держал переправу через Волгу, переплывал темносерую ледяную реку, глядел в глаза быстрой жестокой смерти. Когда-нибудь споют песню о тех, кто спит на дне Волги. Эта песня будет проста, правдива, как труд и смерть среди черных ночных льдов, вдруг загоравшихся синим пламенем от разрывов термитных снарядов, от холодных голубых глаз «арийских» прожекторов.

Ночью мы идём по Волге. Двухдневный лед уже не прогибается под тяжестью шагов, луна освещает сеть тропинок, бесчисленные следы салазок. Связной красноармеец идет впереди уверенно и быстро, словно он полжизни своей шагал по этим пересекающимся тропинкам. Неожиданно лед начинает потрескивать, связной подходит к широкой полынье, останавливается и говорит:

— Эге, да мы, видать, не так пошли, надо бы вправо взять.

Эту утешительную фразу почти всегда произносят связные, куда бы и где бы они вас ни водили. Мы берем вправо и снова выходим на тропинку.

Круглые облачка плавно накатываются на луну, и тогда белая Волга темнеет, словно покрывается серой золой. Разбитые снарядами баржи вмерзли в лед, голубовато поблескивают обледеневшие канаты, круто поднявшиеся вверх кормы, носы разбитых катеров, моторных лодок.

На заводах идет бой. Темные разрушенные стены цехов вдруг освещаются белым и розовым огнем орудийных выстрелов. Гулко, с перекатом ударяют пушки, сухо и звонко разносятся минные разрывы, то и дело слышатся чеканящие очереди автоматов и пулеметов. Эта музыка разрушения странно похожа на мирную работу завода, словно бьет паровой молот, плюща болванки стали, словно, как в мирные времена, идет клепка и разбивают скрап в копровом цехе для загрузки мартенов, словно жидкая сталь и шлак, льющиеся в ковши, освещают розовым быстрым светом молодой волжский лед.

Звуки ночного боя на заводе тоже говорят о новой странице сталинградской борьбы, — это уже не тот стихийный грохот, поднимавшийся высоко к небу, рушившийся с неба потоками на землю, захлестывавший весь огромный волжский простор. Это битва снайперских ударов. Прямые и быстрые трассы пулеметных очередей и снарядов пролетают между цехами, они не похожи на светящиеся медленные гиперболы воздушной войны,— на близких дистанциях между цехами трассы подобны сверкающим копьям и стрелам, пущенным невидимым во тьме воином. Стремительно возникают они из камня стен и вон-

заются в холодный камень стен, исчезают в нем. Снаряды и мины долбят немецкие дзоты, ищут зарывшихся в тайных, замаскированных блиндажах немецких пулеметчиков, подобно бритвенному ножу разрезают перекрытия над глубокими ходами сообщения. Снайпер — герой сегодняшних боев в заводском районе: снайпер-минометчик, снайпер-артиллерист, снайпер-гранатометчик, снайпер-пехотинец. Немец закопался в землю, ушел в каменные норы, залез в глубокие подвалы. Немцы расползлись по бетонированным бакам, по водопроводным и канализационным колодцам, они забрались в подземные тоннели. Лишь снайперским снарядом, точно брошенной гранатой, термитным шаром можно их выковырить, уязвить, выжечь из глубоких темных нор.

Приходит утро, и солнце всходит в ясном морозном небе над Сталинградом, умерщвленным немцами. Солнце всходит над желтым песчаником, обнаженным в обрыве берега, оно освещает каменные источенные снарядами развалины, заводские дворы, превратившиеся в поля битвы, где в смертной схватке сходились полки и дивизии, оно освещает края огромных ям, вырытых тонными бомбами. Дно этих страшных ям всегда в угрюмом сумраке, солнце боится касаться их. Солнце, улыбаясь, глядит сквозь простреленные насквозь снарядами заводские трубы. Солнце светит над сотнями подъездных путей, где цистерны с развороченным брюхом лежат, как убитые лошади, где сотни товарных вагонов громоздятся один на другой, поднятые силой взрывной волны, толпятся вокруг холодных паровозов, словно обезумевшее от ужаса стадо, жмущееся к своим вожакам. Солнце светит над грудами красного от ржавчины железа, над могучим военным и заводским металлом, погибшим в корчах взрывов и сохранившим навек мгновенную смертную

судорогу. Зимнее солнце светит над братскими могилами, над самодельными памятниками, поставленными в тех местах, где лежат убитые в боях на направлении главного удара.

Мертвые спят на холмистых высотах, у развалин заводских цехов, в оврагах и балках, они спят там, где воевали, и, как величественный памятник их верности, стоят эти могилы у траншей, блиндажей, каменных стен с амбразурами, которые не сдались противнику.

Святая земля! Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город торжествующей народной свободы, выросший среди развалин, вобрать его весь в себя, все эти подземные жилища с дымящими на солнце трубами, с переплетением тропинок и новых дорог, с тяжелыми минометами, поднявшими дула между землянок, с этими сотнями людей в ватниках, шинелях, шапках-ушанках, занятых бессонным делом войны, несущих мины, как хлебы, подмышкой, чистящих картошку подле нацеленного дула тяжелой пушки, переругивающихся, поющих вполголоса, рассказывающих о ночном гранатном бое, таких великолепно будничных в своем героизме. Как сохранить в памяти все эти бесчисленные картины, эту чудесную движущуюся панораму сталинградской обороны, эту живую минуту великого сегодня, которое завтра станет вечной страницей истории.

Но все меняется, — и как не похожа переправа сегодняшнего дня на вчерашнюю, как не похож снайперский ночной бой на заводе на стихийные ноябрьские атаки, так сегодняшний сталинградский день не похож на отошедшие дни октября и ноября. Русский солдат вышел из земли, вышел из камня, он распрямился во весь рост, он ходит спокойно, неторопливо при ярком солнечном свете по сверкающей закован-

ной Волге. Переваливаясь идут бойцы, волочат салазки, ездовые сердито подгоняют лошадей, неуверенно ступающих по гладкому льду. На снежном холме левого берега чеканно выделяются грузчики, разгружающие припасы. Почтальон с кожаной сумкой медленно бредет под солнцем на командный пункт батальона, а по холму несут термосы с супом, несут двое связных, шагающих во весь рост в сорока метрах от немецких окопов. Да, солдаты завоевали солнце, завоевали дневной свет, завоевали великое право ходить по сталинградской земле во весь рост под голубым небом, завоевали день. Только сталинградцы знают цену этой победы, и очи сами смеются, глядя на движение войск и машин под солнцем. Ведь долгие месяцы малейшее шевелящееся пятнышко, дневной дымок, человек, мелькнувший в ходе сообщения, вызывали на себя огонь немецких войск. Ведь на долгие месяцы дневное сталинградское небо, захваченное «Юнкерсами», перестало быть русским небом, а стало немецким адом, ведь долгие месяцы тысячи людей ожидали ночи, чтобы выйти из камня и земли, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха, расправить онемевшие руки.

Да, все меняется; и те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских домах и плясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днем подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин. Долго простоял я с биноклем на четвертом этаже одного из разрушенных сталинградских домов, глядя на занятые немцами кварталы и заводские цехи. Ни одного дымка, ни одной движущейся фигуры. Для них нет здесь солнца, нет света дня, им выдают сейчас двадцать пять — тридцать патронов на день, им

приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных пещерах, и гложут конину, сидят в дымном мраке, среди развалин уничтоженного ими прекрасного города, в мертвых цехах заводов, которыми гордилась Советская Страна. По ночам они выползают на поверхность и, чувствуя страх перед медленно сжимающей их русской силой, кричат: «Эй, русс, стреляй в ноги, зачем голову стреляешь?», «Эй, русс, мне холодно, давай менять автомат на шапку!»

Из шестиствольных минометов они разрушили водопровод, они выпустили пятьсот снарядов по Сталгрэсу, они сожгли все, что могло гореть, они уничтожили школы, аптеки, больницы, и пришли для них страшные дни и ночи, когда законом истории и волей русского солдата им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, во тьме, без воды, гложа конину, прячась от солнца и дневного света под жестокими звездами русской декабрьской ночи. Да, все меняется, все изменилось в Сталинграде. Справедлив и грозен закон истории, непоколебима воля наших сталинградских армий.

19 декабря 1942 года

Военный совет

Когда входишь в блиндажи и подземные жилища командиров и бойцов, вновь охватывает страстное желание сохранить навек замечательные черты этого неповторимого быта: эти светильники и печные трубы, сделанные из артиллерийских гильз; эти чарки из снарядных головок, которые на столах рядом с бокалом из хрусталя; эту фарфоровую пепельницу с надписью: «Жена, не серди мужа» рядом с противотанковой гранатой; этот огромный матовый электрический шар в рабочем блиндаже командующего, и эту улыбку Чуйкова, говорящего: «Ну да, и люстра, мы ведь в городе живем»; и этот том Шекспира в подземном кабинете генерала Гурова с положенными на раскрытые страницы очками в металлической оправе; эту пачку фотографий в конверте на исчерченной красным и синим карте с надписью «Папочке»; этот подземный кабинет генерала Крылова с добрым письменным столом, за которым шла великолепная работа начальника штаба; все эти самовары и патефоны, голубые семейные сахарницы и круглые зеркала в деревянных рамах, висящие на глиняных стенах подземелий — весь этот быт, мирную утварь, вынесенную из огня горящих зданий; это пианино на командном пункте пулеметного батальона, где играли под рев германского наступления; и этот высокий, благородный стиль отношений, простоту и непосредственность

людей, связанных узами крови, памятью о павших, величайшими трудами и муками сталинградских боев. Когда командующий 62-й армией разговаривает со связным и связной разговаривает с командующим, когда телефонист заходит к начальнику штаба проверить на слышимость аппарат, когда командир дивизии Батюк отдает приказ красноармейцу, а командир роты докладывает командиру полка Михайлову о ночном бое,— во всем, в каждом движении, в каждом слове и взгляде ощущается этот особый стиль высокого достоинства, стиль, совмещающий в себе железную, беспощадную дисциплину, когда по одному слову тысячи людей поднимались на смерть, и одновременно братство и равенство всех сталинградцев: генералов и бойцов. Пусть эту черту, этот стиль не упустят те, кто будет писать историю сталинградской битвы.

Не раз писалось о том, как создавалась великая сталинградская оборона, как цементировалась она. Это — слава нашего человека, слава его мужеству, терпению, его способности к самопожертвованию.

Среди многих условий, определивших успех нашей обороны, следует на одно из почетных мест поставить умелое руководство 62-й армией. О нем нужно рассказать нашему читателю. Командующий Чуйков, член Военного совета Гуров и начальник штаба Крылов были не только военными руководителями операций, они являлись и духовным стержнем сталинградской обороны. Не только ясная, спокойная военная мысль, не только беспощадная воля и упорство нужны были для руководства 62-й армией. В это великое дело нужно было вложить все сердце, всю душу. И суровые приказы в дни октябоя часто шли не только от разума, но и от сердца. И эти суровые, холодные приказы, продиктованные сердцем, как пламя,

жгли людей, поднимали их на сверхчеловеческие подвиги самопожертвования и терпения, ибо в те дни человеческих подвигов было мало для решения задач, стоявших перед бойцами 62-й армии.

Военный совет армии делил с бойцами все тяжести обороны. Восемь раз переезжал командный пункт армии. В Сталинграде знают, что значит переезд КП. Это значит: попадание тонных бомб и прицельный огонь автоматчиков. Сорок работников штаба погибли от минометного огня в блиндажах Военного совета. Была одна страшная ночь, когда тысячи тонн горящей нефти вырвались из подожженных немецкими снарядами хранилищ и с ревом устремились на блиндажи Военного совета. Пламя поднималось на высоту восьмисот метров. Волга запылала, вся покрывшись горящей нефтью. Горела земля, огненные потоки стремительно срывались с крутого обрыва. Начальника штаба — генерала Крылова, работавшего в своем блиндаже и лишь по страшному жару заметившего, что кругом все пылает, в последнюю минуту сумели перетащить через огненную реку. Всю ночь Военный совет простоял на узкой кромке берега среди ревущего черного пламени. Командир гвардейской дивизии Родимцев послал к месту пожара бойцов. Они вернулись и доложили, что Военный совет ушел. «На левый берег?» — спросили их. «Нет, — ответили бойцы, — ближе к переднему краю».

Бывали дни, когда Военный совет находился ближе к противнику, чем командные пункты дивизий и даже полков. Блиндажи сотрясались так, словно находились в центре мощного землетрясения. Казалось, что могучие бревна крепления сгибаются, словно эластичные прутья, земля ходила волнами под ногами, кровати и столы приходилось прибивать к полу, как в каютах кораблей во время бури. Бывало, что посуда на столе

рассыпалась на мелкие черепки от постоянной вибрации высокой частоты. Радиопередатчики отказывали, многочасовая бомбежка сотрясала эмульсию в лампах. Уши уже не воспринимали грохота, казалось, что две стальных иглы проникают в ушные раковины и мучительно давят на мозг. Вот в такой обстановке проходили дни, а ночью, когда стихала бомбежка, командарм Чуйков, сидя за картой, отдавал командирам дивизий приказы. Гуров, спокойный, дружественный, неожиданно появлялся в дивизиях и полках, Крылов вел свою работу над картами, таблицами, планами, писал доклады, проверял тысячи цифр, думал. И все они поглядывали на часы и вздыхали: «Вот и скоро рассвет, и снова валтузка».

Вот те условия, в которых работал Военный совет 62-й армии. Когда я спросил Чуйкова, что было самым тяжелым для него, он, не задумываясь, ответил:

— Часы нарушения связи с войсками. Представляете себе, бывали дни, когда немцы обрывали всю проволочную связь с дивизиями, радио переставало работать от сотрясения эмульсии в лампах. Пошлешь офицера связи — убивает, пошлешь другого — убивает. Все трещит, грохочет, и нет связи. Вот это ожидание ночи, когда можно наконец связаться с дивизиями... Не было для меня ничего страшней и мучительней этого чувства связанности, неизвестности.

Мы беседуем с командиром долгую декабрьскую ночь. Иногда Чуйков прислушивается и говорит:

— Слышите, тихо,— и смеясь добавляет: — Честное слово, скучно.

Он — высокий человек с большим темным, несколько обрюзгшим лицом, с курчавыми волосами, крупным горбатым носом, большими губами, большим голосом. Этот сын тульского крестьянина Чуйкова почему-то напоминает генерала далеких времен первой

Отечественной войны. Когда-то он был рабочим в шпорной мастерской в Петрограде, вырабатывал «малиновый звон». Девятнадцатилетним юношей он командовал полком во время гражданской войны. С тех пор он военный.

Для этого человека оборона Сталинграда не была одной лишь военной проблемой, пусть даже первостепенного стратегического значения. Он переживал и ощущал романтику этой битвы, жестокую и мрачную красоту ее, поэзию войны, поэзию смертной обороны, к которой он обязывал железным приказом командиров и красноармейцев. Для него эта битва за Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты. Когда черные силы немецкой авиации и танков, артиллерии и минометов, собранные фон-Боком, Тодтом и Паулюсом на направлении главного удара, обрушивались всей тяжестью на линию нашей обороны, когда в черном дыму тонуло солнце и гранитный фундамент зданий рассыпался мелким песком, когда от гула моторов танковых дивизий колебались подточенные стены зданий и казалось, нет и не может быть ничего живого в этом аду, тогда из земли поднималась бессмертная русская пехота.

Да, здесь все силы германской техники были встречены русским солдатом-пехотинцем, и Чуйков, для которого эта залитая кровью земля была дороже и прекрасней райских садов, говорил: «Как, пролить столько крови, подняться на такие высоты славы и отступить? Да никогда этого не будет!» Он учил командиров спокойному, трезвому отношению к противнику. «Не так страшен чорт, как его малюют»,— говорил он, хотя знал, что в некоторые дни немецкий чорт бывал очень страшен на направлении главного удара. Он знал, что суровая правда в оценке противника — необходимейшее условие победы, и говорил: «Переоце-

нивать силу противника вредно, недооценивать — опасно». Он говорил командирам о гордости русского военного, о том, что лучше офицеру не сносить головы, чем поклониться перед строем немецкому снаряду. Он верил в русский военный задор. Суровейший среди суровых, он был беспощаден с паникерами и трусами. Говорят, победителей не судят. Но, я думаю, случись так, что 62-я армия была бы побеждена, ее командующего тоже нельзя было бы судить.

Такой же верой в силу нашей пехоты жил генерал-майор Крылов. На этой вере основывал он свою сложную работу, свои расчеты, свои предвидения. Судьба положила ему жребий быть от первого до последнего дня начальником штаба армии, защищавшей Одессу, затем начальником штаба героической армии, семь месяцев оборонявшей Севастополь, и, наконец, начальником штаба 62-й сталинградской армии. Этот спокойный, задумчивый человек, с размеренной негромкой речью, мягкими движениями и мягкой улыбкой, пожалуй, единственный генерал в мире, столь богатый опытом обороны городов. Такого опыта не имеет ни одна академия.

Суровую науку свою генерал Крылов изучал в огне пожаров и грохоте взрывов. Он приучил себя методически работать, обдумывать сложные вопросы, размышлять над замыслами противника, разрабатывать и детализировать маневры и планы в таких адских условиях, в которых ни один человек науки не мог бы и на минуту сосредоточить свои мысли.

В Сталинграде ему иногда казалось, что севастопольская битва не кончилась, а продолжается здесь, что грохот румынской артиллерии на подступах к Одессе слился с ревом немецких пикировщиков, нависших над сталинградскими заводами. В Одессе бой шел на внешнем обводе, в пятнадцати — восемнадцати

километрах от города, в Севастополе он придвинулся к окраинам, шел на Северной и Корабельной стороне, а здесь он вошел в самый город — на площади и в переулки, в дворы, в дома, в цехи заводов. Здесь бой шел на том же страшном потенциале, как и в Севастополе, но масштабы его, воинские массы, втянутые в него, были неизмеримо больше. И здесь сражение, наконец, было выиграно. Крылову казалось, что это победа не только сталинградской армии, что это победа Одессы и Севастополя.

В чем была тактика противника во всех трех битвах за города? Немцы во всех трех сражениях применяли метод последовательного, методического прогрызания нашей обороны, рассечения боевых порядков и уничтожения и подавления их по частям в тех случаях, когда им удавалось расчленить эти боевые порядки. В этих ударах весь главный расчет делался на силу мотора, на массированное применение концентрированной техники, на ошеломление. В такой тактике с военной точки зрения не было ничего порочного. Наоборот, это была правильная тактика, но в ней имелся один органический порок, избежать которого немцы не могли,— это диспропорция между силой могучего мотора и несовершенством немецкой пехоты. И вот стальным клином, вошедшим в эту брешь, были великолепно вооруженные русские стрелковые дивизии, оборонявшие Сталинград, их стойкость, их бессмертное мужество. Эту силу Крылов по-настоящему понял в Одессе, он измерил ее возможности в Севастополе, и он стал свидетелем и участником ее торжества на берегу Волги, в Сталинграде.

Вероятно, если через четверть века люди, командовавшие 62-й армией, встретятся с командирами сталинградских дивизий, эта встреча будет встречей братьев. Старики обнимутся, утрут слезу и начнут

вспоминать о великих сталинградских днях. Вспомнят погибшего в бою Болвинова, которого нежно любили бойцы за то, что он до дна выпил с ними горькую чарку солдатской беды, Болвинова, который, обвязавшись гранатами, подползал к боевому охранению и говорил своим бойцам: «Ничего, ребята, не поделаешь, держись». Вспомнят, как Жолудева засыпало в блиндаже и он под землей вместе со своим штабом затянул песню: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!» Вспомнят трубу, в которой сидел Родимцев, и вспомнят, как в тот день, когда дивизия Родимцева переправлялась через Волгу, работники штаба армии сели в танки и поддерживали переправу. Вспомнят, как Гуртьева засыпало вместе со штабом в пещере и как друзья прокопали к ним ход. Вспомнят, как командир дивизии Батюк шел на доклад к командующему и крупнокалиберный германский снаряд упал ему под ноги, но не разорвался, и как Батюк покачал головой и зашагал дальше, заложив руку за борт шинели. Вспомнят, как генерал Гуртьев звонил по телефону своему другу генералу Жолудеву и говорил: «Крепись, дорогой, помочь ничем тебе не могу». Вспомнят, как на замерзшем берегу встретились Горишный и Людников.

Вспомнят многое. Вспомнят, конечно, и то, как крепко жал Чуйков и как жарко бывало не только по дороге в блиндаж командующего, но и в самом его блиндаже. Многое вспомнят. Это будет торжественная радостная встреча. Но будет в ней и большая печаль, ибо многие не придут на нее из тех, кого невозможно забыть, ибо все — и командарм и командиры дивизий никогда не забудут великого и горького подвига русского солдата, большой кровью своей отстоявшего отчизну.

29 декабря 1942 года

Сталинградское войско

Дорога в батальон идет по железнодорожным путям, заставленным товарными составами, среди молодого, выпавшего ночью, снега. Мы идем по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идет спокойно, неторопливо и утешительно объясняет: «Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережет патроны и мины». Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой абстрактной и благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлениями, достаточно ли бережливы засевшие в железо-бетонных баках немцы. Но чем ближе мы подходим к этим бакам, тем хуже они становятся видны,— отступают за гребень кургана. Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода. Мимо груды рыжего железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных

стен. Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведенным здесь, что не замечают их вовсе. Наоборот, интерес вызывают случайно уцелевшее стекло в окне разрушенной заводской конторы, высокая не простреленная труба, чудом уцелевший деревянный домик.

— Смотри, пожалуйста, живет домик,— говорят проходящие и улыбаются.

И действительно, трогательно выглядят эти редкие уцелевшие свидетели мирной жизни в царстве разрушения и смерти. Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырехъэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов. Это крайний западный пункт на нашей сталинградской линии фронта. Он, словно мыс, вдается в занятые немцами дома и постройки. Противник рядом, но красноармейцы занимаются своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий рубит топором поленья. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет поврежденную часть миномета. Он раздумывает, прежде чем принять решение в отдельных деталях своей работы, затем снова принимается за инструмент и напевает,— совершенно мастеровой человек в обжитой своей мастерской.

А здание носит на себе следы страшной разрушительной работы немцев. Вокруг него чернеют огромные ямы, вырытые германскими «пятисотками». Бетонные стены и потолки пробиты от прямых попаданий авиационных бомб. Железная арматура, изодранная силой взрывов, провисает и прогибается, как тонкая рыбачья сеть, порванная огромной белугой. Западная стена разрушена дальнобойной артиллерией. Северная полутораметровая стена обвалилась от удара из шестиствольного миномета. Огромная труба — ми-

на с развернутой железными лепестками верхней частью валяется на каменном полу. Стены исклеваны ударами легких снарядов и мин. Но здесь же из металла и камня, искрошенного немецким огнем, руками красноармейцев вновь создавались стены с узкими длинными амбразурами. Эта разрушенная крепость не сдавалась. Она выстояла форпостом нашей обороны и сейчас своим огнем поддерживает наше наступление.

И сейчас, как и вчера, идет здесь жестокая, справедливая война. В некоторых пунктах прорытые батальоном траншеи находятся от противника в двадцати метрах. Часовой слышит, как по немецкой траншее ходят солдаты, слышит руготню, которая поднимается, когда немцы делят пищу, всю ночь слышит он, как отбивает чечетку немецкий караульный в своих худых ботинках. Здесь все пристреляно, каждый камень является ориентиром. Здесь много снайперов, и здесь, в этих глубоких узких траншеях, где люди нарыли себе землянки, поставили печки с трубами из снарядных гильз, где по-хозяйски ругают товарища, отлынивающего от рубки дров, где, вкусно прихлебывая, едят деревянными ложками суп, принесенный в термосе по ходу сообщения, — здесь день и ночь царит напряжение смертной битвы.

Немцы понимают все значение этого участка в системе своей обороны. Здесь нельзя показаться на вершок над краем траншеи, чтобы не щелкнул выстрел немецкого снайпера. Здесь немцы не берегут патронов.

Но мерзлая каменная земля, в которую глубоко зарылись немцы, не может уберечь их. День и ночь стучат кирки и лопаты, наши красноармейцы шаг за шагом продвигаются вперед, грудью раздвигая землю, все ближе и ближе к господствующей высоте. И нем-

цы чуют, что близок час, когда уж ни снайпер, ни пулеметчик не выручат. И их ужасает этот стук лопат, им хочется, чтобы он прекратился хоть на время, хоть на минуту.

— Русс, покури! — кричат они.

Но русские не отвечают. Тогда стук кирок и лопат исчезает в грохоте взрывов: немцы хотят в разрывах гранат утопить страшную методическую работу русских. В ответ из наших траншей тоже летят «феньки» — гранаты. А едва рассеивается дым и стихает грохот, как немцы снова слышат могильный стук. Нет, эта земля не обережет их от смерти. Эта земля — их смерть. Все ближе с каждым часом, с каждой минутой приближаются русские, преодолевая каменную твердость зимней земли...

Но вот мы снова на командном пункте батальона. Через разрушенную стену, на которой сохранилась дощечка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим внутрь глубокого подвала. Здесь на столе стоит румяный медный самовар, красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, снесенных сюда из окрестных разрушенных домов.

Командир батальона — капитан Ильгачкин, высокий худой юноша с черными глазами, с темным высоким лбом. По национальности он чуваш. В его лице, в горящих глазах, во впалых щеках, в его речи чувствуется фанатизм, сталинградская одержимость. Он и сам говорит это.

— Я здесь с сентября. И теперь я ни о чем не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда сплю, во сне его вижу. — Он возбужденно стучит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нем быть не может.

В октябре он и красноармеец Репа были одержимы

другой идеей: сбивать «Ю-87» из противотанкового ружья. Ильгачкин произвел довольно сложные подсчеты с учетом начальной скорости пули и средней скорости самолета, составил таблицу поправок для стрельбы. Была построена фантастически остроумная и простая «зенитная» установка: в землю вбивался кол, устраивалась на нем втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружье сошниками укреплялось на спицах колеса, а телом своим лежало между спицами. И сразу же худой и унылый Репа сбил три немецких пикировщика «Ю-87», волтузивших наш передний край.

Теперь за противотанковое ружье взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспосабливает к нему оптический прицел со снайперской винтовки, хочет разрушать немецкие пулеметные точки, всаживать пулю в самую бойницу. И я уверен, что он добьется своего. Сам Зайцев — молчаливый человек, о котором говорят в дивизии так: «Наш Зайцев культурный, скромный, уже двести двадцать пять немцев убил». Он пользуется большим уважением в городе. Воспитанных им молодых снайперов называют «зайчатами», и, когда он обращается к ним и спрашивает: «Правильно я говорю?» — все хором отвечают: «Правильно, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев консультируется с техниками, чертит, думает, выписывает.

Здесь, в Сталинграде, как нигде, часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, все сердце, но и все силы ума, все напряжение мысли. Сколько мне пришлось их встречать здесь — и полковников, и сержантов, и рядовых красноармейцев, напряженно день и ночь думающих все об одном и том же, что-то высчитывающих, чертящих, словно люди эти, защищающие город, взяли на себя обязан-

ность разрабатывать изобретения, вести исследования здесь, в подвалах города, в котором недавно занимались этим делом много блестящих профессорских и инженерских умов в просторных институтских и заводских лабораториях. Сталинградское войско воюет в городе и на заводах. И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов и секретари райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе, работает знаменитый стахановец или стахановка, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:

— Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший минометчик Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня.

И как некогда каждый район города имел свои традиции, свой характер, свои особенности, так и теперь сталинградские дивизии, равные в славе и заслугах, отличаются одна от другой множеством особенностей и характерных черт. О традициях дивизий Родимцева и Гуртьева мы уже писали. В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной, любовной насмешливости. Тут любят рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья, и шутя корректировал стрельбу:

— Правей два метра. Так, левей метр. Начарт, держись!

Тут любят посмеяться и над легендарным виртуозом стрельбы из тяжелого миномета Бездидько. И Бездидько, не знающий промаха, кладущий мины с точностью до сантиметров, смеется и сердится. И сам Бездидько, человек с певучим мягким тенорком, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своем счету

тысячу триста пять немцев, любовно посмеивается над худеньким командиром батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков:

— А вин оттого и бив одной пушкой, шо у него тильки одна пушка и була.

Здесь в батальоне любят посмеяться, рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о внезапных ночных стычках с немцами, о том, как ловят падающие на дно окопа немецкие гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи; как «сыграл» вчера шестиствольный «дурило» и влепил все шесть мин по немецким блиндажам; как огромный осколок от тонной бомбы, легко могущий убить наповал слона, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бритва, шинель, ватник, гимнастерку, нижнюю рубаху и не повредил даже самого ничтожного клочка кожи, капли крови не выпустил. И, рассказывая все эти истории, люди смеются, и самому все это тебе кажется смешным, и ты сам смеешься.

В соседнем отсеке заводского подвала размещаются ротные минометы. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.

Тонкий луч солнца проникает через щит, закрывающий окно подвала. Луч медленно вполз по ножке кровати, ощупал сапог лежащего, поиграл на металлической пуговице шинели, выполз на стол и осторожно, точно боясь взрыва, коснулся ручной гранаты, лежащей возле самовара. Он полз все выше, и это значило, что солнце садилось, что наступал зимний вечер.

Обычно говорят — тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курлыканье, потом послышались тяжелые частые взрывы, и все сидевшие в подвале сказали в один голос:

«Шестиствольный сыграл». Потом послышались такие же тяжелые взрывы и затем протяжный далекий гул. А спустя несколько мгновений ухнул одиноко взрыв. «Наше дальнобойное с того берега»,— сказали сидевшие. И хотя все время стреляли, хотя приход вечера в темном холодном подвале стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к черному закопченному потолку, все же это был настоящий тихий вечер.

Красноармейцы завели патефон.

— Какую ставишь? — спросил один.

Сразу несколько голосов ответили:

— Нашу поставь, ту самую.

Тут произошла странная вещь: пока боец искал пластинку, мне подумалось: «Хорошо бы услышать здесь, в черном разрушенном подвале, свою любимую «Ирландскую застольную». И вдруг торжественный печальный голос запел:

За окнами шумит метель...

Видно, песня очень нравилась красноармейцам. Все сидели молча. Раз десять повторяли они одно и то же место:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

Эти слова, эта наивная и гениальная бетховенская музыка звучали здесь непередаваемо сильно. Пожалуй, это было для меня одно из самых больших переживаний войны, ибо на войне человек знает много горячих, радостных, горьких чувств, знает ненависть и тоску, знает горе и страх, любовь, жалость, месть. Но редко людей на войне посещает печаль. А в этих словах, в этой музыке скорбного сердца, в этой снисходительной, насмешливой просьбе:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

была непередаваемая сила, благородная печаль.

И здесь, как никогда, я порадовался великой силе подлинного искусства, тому, что бетховенскую песню слушали торжественно, как церковную службу, солдаты, три месяца проведшие лицом к лицу со смертью в этом разрушенном, изуродованном, не сдавшемся фашистам здании.

Под эту песню в полутьме подвала торжественно и выпукло вспоминались десятки людей сталинградской обороны, людей, выразивших все величие народной души. Вспомнился суровый, аввакумовски непримиримый сержант Власов, державший переправу, вспомнился сапер Брысин, красивый, смуглый, не ведающий страха в своем буслаевском удальстве, дравшийся один против двадцати в пустом двухэтажном доме. Вспомнился Подханов, не захотевший после ранения уходить на левый берег, — когда начинался бой, он выбирался из подземелья, где находилась санитарная рота, и, подползая к переднему краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин откапывал под ураганным огнем на Тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он копал с такой стремительной яростью, что пена выступала у него на губах, и его силой оттащили, боялись, что он упадет мертвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с нее огонь. И вспомнилось, что Выручкина не смог поблагодарить генерал Жолудев, так как Выручкина убило немецкой миной. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть — забывая обо всем, кидаться на помощь попавшим в беду, может быть, от этого и дали их роду кличку

Выручкиных. Вспомнился мне боец понтонного батальона Волков. Раненный в шею, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров добирался то ползком, то на попутных машинах из госпиталя на переправу и плакал, когда его увезли обратно в госпиталь. Вспомнились мне те, что сгорели в поселке Тракторного завода, но не вышли из горящих зданий, вели огонь до последнего патрона. Вспомнились те, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, те, кто отражали немецкие танки в Скульптурном саду, вспомнился мне батальон, погибший весь, от командира до левофлангового бойца, защищая Сталинградский вокзал. Вспомнилась мне широкая проторенная дорога, ведущая к рыбачьей слободе по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжелой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулеметчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие да гудела земля под их тяжелым шагом.

И вдруг вспомнилось мне письмецо, написанное детской рукой, письмецо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца. «Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте, тятя. Я без вас шипко скучаю. Приходишь домой, как на фатеру. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

И вспомнился мне этот убитый тятя,—может быть, он перечитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы...

Как передать чувства, пришедшие в этот час в темном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушая торжественную и печальную песнь, и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях?

1 января 1943 года

Сталинградский фронт

Шестого августа генерал-полковник Еременко принял командование над войсками Сталинградского фронта. Тяжелые и грозные это были дни. Безжалостное солнце стояло над степью. Его широкий мутный лик тонул в легкой сухой пыли. Эта пыль, поднятая тысячами красноармейских сапог, колесами обозов, гусеницами танков и тягачей, поднималась высоко-высоко вверх, и казалось, что безоблачное небо покрылось свинцовой пеленой.

Армии отступали. Угрюмы были лица людей. Пыль покрывала их одежду, оружие, пыль ложилась на дула орудий, на брезент, покрывавший ящики с штабными документами, на черные лакированные крышки штабных пишущих машинок, на беспорядочно наваленные на подводы чемоданы, мешки, винтовки. Серая сухая пыль проникала в ноздри и глотку. Губы сохли от нее и покрывались трещинами. Эта пыль проникала в людские души и сердца, она делала глаза людей беспокойными, она переливалась в артериях и венах, и кровь бойцов становилась от нее серой. То была страшная пыль, пыль отступления. Она разъедала веру, она гасила жар сердца, она мутно вставала перед глазами наводчика и стрелка. Бывали минуты, когда люди забывали о долге, о своей силе, о своем грозном оружии, и мутное чувство овладевало ими. Немецкие танки, гудя, двига-

лись по дорогам. День и ночь висели над донскими переправами немецкие пикировщики, со свистом проносились над обозами «Мессеры». Дым, огонь, пыль, смертная духота.

И людям иногда казалось, что нет кислорода в том горячем воздухе, который они ловят сухими губами, что они задохнутся в серой сухой пыли. Да, в эти дни лица шагавших бойцов были так же бескровны, как лица раненых, лежавших на тряских полуторках.

В эти дни шагавшим с оружием хотелось стонать и жаловаться, как тем, кто лежал в грязных кровавых бинтах на деревенской соломе в ожидании санитарных машин. Великая армия великого народа отступала.

Первые обозы отступающей армии вошли в Сталинград. По нарядным улицам города, мимо зеркальных витрин, мимо выкрашенных в голубую краску киосков, торговавших газированной водой с сиропом, мимо книжных магазинов и магазинов детских игрушек, проезжали грузовики с серолицыми ранеными, фронтовые машины с помятыми крыльями, с продырявленными пулями и осколками кузовами, легковые штабные «эмки» с лучеобразными трещинами на передних стеклах, машины со свисающими клочками сена и бурьяна, машины, покрытые пылью и грязью военных дорог. И дыханье войны обожгло город, вошло в него.

Печать тревоги легла и на лица горожан. Все как будто продолжалось попрежнему, и все изменилось. Лишь могучие заводы продолжали изрыгать черный дым, день и ночь работала сталинградская промышленность. «Баррикады», Тракторный превратились в арсенал Сталинградского фронта, и на смену гибнущим в тяжком, неравном бою, на смену уничтожен-

ным под Котельниковым и Клетской, на смену потерянным на речных переправах каждую ночь шли к фронту артиллерийские полки и танковые батальоны, созданные великим трудом наших рабочих.

Город готовился стать театром войны. В штабах готовили оборону. Перекрестки улиц и городские садики, где назначали свидания влюбленные, теперь отмечали как тактические выгодные или, наоборот, рискованные позиции, имеющие ограниченный или полный обзор, обстрел, обеспечивающие фланги или усиливающие центр. Война подошла к Сталинграду. И милые степные дороги, поросшие дикой вишней, балки, холмы со старинными, от прадедов идущими названиями превратились в коммуникации, пересеченную местность, в высоты: сто два ноль, сто двадцать восемь шесть, сто тридцать и пять. Война рвалась к Сталинграду.

Немецкое командование верило в силу своего пробивного тарана, сконцентрированного на направлении главного удара. Оно считало, что нет в мире силы, способной противостоять авиационному корпусу генерал-полковника Рихтгофена, танкам и пехоте фон-Бока. Они двигались к Волге и Сталинграду, они с каждым днем пробивались к нему все ближе и ближе с юга — от Цымлянской и Котельникова, с северо-запада — от Клетской. Для немцев вопрос занятия Сталинграда и выхода к Волге казался решенным. Срок определялся просто: надо было только разделить длину оставшегося пути на среднюю величину суточного продвижения. Произведя эту нехитрую выкладку, Гитлер объявил миру день занятия Сталинграда.

И вот в эти тяжелые дни августовского отступления, в край деревенских пожаров, в край дыма, огня, в сухую горячую пыль, когда в мутном воз-

духе стоял гул моторов воздушных эскадр генерал-полковника Рихтгофена, а степная земля между Доном и Волгой прогибалась под тяжестью танковых колонн, марша пехотных дивизий и скрипа колес артиллерийских полков, предводительствуемых фон-Боком,— в этот мирный край, ставший адом, приехал командующий новым Сталинградским фронтом.

Немцы, мыслившие арифметическими категориями, полагали, что из дымного ада, созданного ими, может родиться лишь паника, слабость, апатия, неверие в добрый для русских исход войны. Они потирали руки: после долгого отступления, после больших потерь здесь, в степях, где бродят верблюды, где близка пустыня, русские, подавленные неудачами, не противопоставят им никакой серьезной силы, не станут оборонять город на высоком обрывистом берегу, имея за спиной полуторакилометровую Волгу. Русские действительно знали, что за их спиной — широкая и быстрая река, но они знали, что за их спиной — судьба России.

Измученные боями на Северном Донце, на Осколе и на Дону, русские войска стали перед городом на Волге, и не оказалось в мире силы, могущей сдвинуть их. Как создалась, как родилась эта сила? Где источник ее, укрепивший людей над волжским обрывом?

Немцы ждали, что движение их тарана будет происходить по законам арифметической прогрессии. Этот закон проверили они в Польше и Голландии, во Франции и Бельгии, в Югославии и Греции. Там на пятый день немецкие колонны проходили вдвое больше, чем в первый, а на десятый вдвое больше, чем на пятый. В Европе немцы наступали по геометрическим законам движения падающей с горы лавины, под Сталинградом они наступали по законам

движения телеги, взбирающейся вверх по крутой горной дороге.

Но теперь пришло время сказать о самом чудесном, основанном на великой вере в силу народа и в его любовь к свободе. Еременко привез из Москвы не только мысли и волю сталинградской обороны, он привез из Москвы мысль и волю сталинградского наступления.

Генерал-полковник Еременко — пятидесятилетний широкоплечий грузный человек, в котором массивная неповоротливость движений сочетается с легкостью и быстротой. Когда Еременко надевает очки и читает бумаги или глядит на карту, он похож на деревенского учителя, отдыхающего за книгой в школьной избе после часов занятий. Но когда внезапно он поднимает телефонную трубку и говорит начальнику артиллерии: «Усильте огонь! Как коршун, как коршун нависайте над отходящим противником!», когда он быстрой и короткой фразой приказывает перебросить несколько артиллерийских полков с одного участка фронта на другой, когда он приказывает внезапно выбросить зенитные средства на наметившуюся над пустынной степью трассу германской транспортной авиации, чувствуешь и видишь, что Еременко не только генерал массивной гранитной обороны,— что он генерал внезапного, быстрого наступательного маневра.

Генерал-полковник Еременко — человек большого военного опыта. Он знает тяжелую жизнь солдата, он сам ходил в 1914 году в штыковую атаку, во время которой заколол двадцать два немца. Он — солдат, ставший генералом. И когда во время руководства сложным сражением, выслушивая донесения и отдавая короткие быстрые приказы, между разговором с генералом, чьи войска ворвались во враже-

ские окопы, и приказом фронтовой авиации о начале боевых вылетов, он снимает телефонную трубку и сердито говорит: «Валенки, валенки быстрей, быстрей подвозите!», понимаешь, что для него война — высшая жизненная реальность, в которой нет никаких романтических иллюзий.

— Кто хочет умереть? — стариковски усмехаясь, спрашивал он меня и сам ответил: — Никто особенно не хочет.

Для Еременко война — это продолжение жизни, это обычная жизнь. Законы войны — это законы жизни. Тут нет таинственности, кантовской «вещи в себе». Еременко оценивает и красноармейцев, и генералов с житейской простотой и трезвостью. Он знает, как ведет себя в жизни и работе многосемейный человек, любящий пожаловаться на боль в пояснице, и горячий юноша, не привыкший обдумывать свои поступки.

— Лучший возраст солдата, должно быть, двадцать пять — тридцать лет, — говорит он. — Его еще не тянет в обоз, он не думает все время о семье, и он уже потерял юношескую горячность. Солдату воевать одной храбростью нельзя — он должен быть житейски опытным, житейски умным, житейски хитрым.

Еременко знает превратности войны — он испытал и проверил их долгим опытом и годами военных трудов. Он, один из организаторов обороны Смоленска, уже однажды встречал главные силы противника и видел, как впервые во время великой войны трещали германские планы, как нарушились темпы, как смешались казавшиеся неумолимыми пути движения танковых германских колонн. В этом он познал силу нашей обороны. Он проверил силу нашего наступления, когда войска под его руковод-

ством прорвали на Калининском фронте линии противника и заняли Пено, Андреаполь, Торопец, подходили к Витебску. Но он познал и горечь неудачи и вероломную силу противника во время германского прорыва к Брянску и Орлу.

Он знал переменчивость военного счастья, злые превратности войны и не считал немцев разбитыми в период больших наших успехов.

Величественной эпопее обороны Сталинграда предшествуют небычайно упорные и героические бои в степях, к югу от города. Отсюда первоначально предполагали прорваться немцы к городу, и здесь встретили они железную стену сопротивления. Войска генерала Шумилова отражали напор врага в плоской степи, где широко могли развернуться силы немецкой авиации и танковых соединений. Здесь война ничем не напоминала той, что развернулась впоследствии на улицах и площадях Сталинграда. Казалось, она отличалась, как день от ночи, от уличных сталинградских боев. Но здесь, в пустынной степи, впервые проявились те замечательные качества упорства и высокого самопожертвования, под знаком которых прошла вся битва за Сталинград. Здесь, в степи, все было не так, как в городе. Тут происходили удивительные, казалось, не имеющие никакого отношения к борьбе за город, происшествия. Здесь часовой, стоявший у минного поля, однажды увидел, как заяц выскочил на минированный участок степи и тотчас вслед ему кинулась, пуша хвостом, быстрая серовато-рыжая лисица. Часовой увидел, как оба зверя — и преследуемый и преследующий — подорвались на минах. Он хотел подобраться к ним и тоже упал, тяжело раненный осколком мины, задетой его сапогом. А в это время с другого конца, объезжая раскрывшее себя минное поле, появились немецкие

танки, и раненый часовой стрелял из винтовки, давая знать о движении врага. Здесь, в степи, началась битва за Сталинград, здесь расчеты противотанковых пушек сержанта Апанасенко и Кирилла Гетьмана отражали атаки тридцати тяжелых танков, здесь писал перед штурмом занятого немцами разъезда свою клятву донбассовский пролетарий Ляхов, здесь, в степи, дрались танки «КВ» полковника Бубнова, так дрались, что и теперь каждый день услышишь рассказы об удивительной, неистребимой бубновской бригаде. Здесь шли на штурм высоты двадцать пять гвардейцев полковника Денисенко, залегли, когда их осталось пятнадцать, снова поднялись и пошли, залегли, когда их осталось шесть, и опять пошли вперед; залегли, когда их осталось трое, но и эти трое поднялись и продолжали итти вперед. И такова была сила этих людей, что, когда двое упали убитыми, третий, единственный уцелевший из двадцати пяти, пошел все же вперед, достиг гребня и повел огонь из пулемета, укрывшись за сожженный немецкий танк.

Здесь, в степи, немцы не смогли пройти к городу с юга. Тогда, сосредоточив все силы в излучине Дона, они прорвали нашу оборону у хутора Вертячего и танковой колонной вышли к северной окраине города, у Тракторного завода. Это было 23 августа 1942 года.

Немцы предполагали захватить заводы, выйти к переправам и к 25 августа овладеть Сталинградом. Тогда-то грудь с грудью столкнулись германские силы, сконцентрированные на направлении главного удара, с нашей 62-й армией.

Началось великое сражение, за ходом которого, затаив дыхание, следили народы мира.

Генерал-лейтенант Чуйков принял командование

над 62-й армией в самые роковые часы сталинградской битвы. Чуйков явился на командный пункт командующего фронтом, в глубокое подземелье на западной окраине пылающего Сталинграда. Мы не знаем, что говорил Еременко Чуйкову, напутствуя его на тяжкую работу. Об этом разговоре знают лишь они двое.

Командующий фронтом много лет уже знал генерала Чуйкова, знал его и по маневрам мирного времени и по великой войне. Он знал храбрость Чуйкова, его неукротимую энергию, непоколебимое упорство, с которым он не отступал от раз намеченной цели. «Этот человек панике не поддается»,— сказал командующий фронтом.

Великий и тяжелый труд выпал на долю генерала Чуйкова. Его девизом, девизом его помощников — Горохова, Родимцева, Гурьева, Гуртьева, Батюка стали слова: «Стоять на смерть!» Верность этому девизу доказали они в невиданных испытаниях сталинградского сражения. Верность этому девизу доказали командиры полков и батальонов, рот и взводов сражавшихся в Сталинграде дивизий. Верность этому суровому благородному девизу доказали десятки тысяч бойцов, не отступивших ни на шаг от занятой ими обороны.

Генерал Чуйков и его помощники в полной мере делили с бойцами все трудности боев. В Сталинграде не было глубины эшелонирования — в городе, который узкой лентой протянулся вдоль волжского берега на длину в шестьдесят километров, не стало тылов и переднего края. Сожженный, обращенный в развалины, Сталинград превратился в город-окоп, город-траншею, город-блиндаж. И в этом день и ночь гремевшем выстрелами и взрывами окопе, среди пламени пожаров и гула немецких бомбардировщи-

ков, рядом находились и командующий армией генерал-лейтенант Чуйков, и генералы, и полковники, командовавшие дивизиями, и бойцы-автоматчики, саперы, бронебойщики, артиллеристы, стрелки.

В этом аду сто дней и сто ночей работал Чуйков и его помощники. В этом аду шла четкая, размеренная и напряженная работа их штабов, в этом аду планировался бой, шли заседания, выносились решения, составлялись и подписывались боевые приказы, в этом аду каждый день и каждый час каждое дыхание Чуйкова и его помощников были подчинены одному девизу: «Стоять на смерть!»

Все они, помощники Чуйкова, прошли и выдержали великое испытание: от молодого гвардейского генерала Родимцева до седого полковника Гуртьева.

Немцы, столкнувшись с необычайным упорством 62-й армии, поняли, что им не захватить Сталинграда, наступая по всему фронту. Они решили расчленить нашу оборону, вбить клинья в 62-ю армию, расколоть ее так, как колют клиньями сопротивляющееся тяжким ударам топора бревно. После чудовищных усилий, после огромных жертв им удалось в трех местах продвинуть острия своих клиньев к берегу Волги. Они думали, что имеют дело со структурой, подобной древесине, что вбитые клинья расколют 62-ю армию. Но немцы ошиблись. Клинья были вбиты, а 62-я армия оставалась попрежнему единой, подчиненной воле своего командующего, неистребимым, неколющимся, совершенным целым. Это казалось чудом: армия, отделенная от своих тылов многоводной осенней Волгой, армия, в которую вошли три тяжких германских клина, продолжала бороться, как единый слаженный могучий организм.

В чем же разгадка этого чуда? Немцы ошиблись, немцы не поняли, не смогли определить внутренней,

органической структуры 62-й армии. Они думали, что это древесина, боящаяся клиньев, а они имели перед собой благородную сталь, ту сталь, которая состоит из мелких микроскопических кристаллов, связанных могучими силами молекулярного сцепления. Каждый из этих кристаллов — сталь! И нет, не было и не будет в мире такого клина, который мог бы расколоть эту сталь. Чтобы разрушить, уничтожить 62-ю армию, нужно было расчленить, оторвать друг от друга все эти бесчисленные кристаллы. Мыслимо ли это? Немцы хорошо доказали, что это невозможно, ибо, надо им отдать справедливость, они использовали все дьявольские силы германского милитаризма, чтобы уничтожить 62-ю армию.

Здесь не представляется возможности говорить обо всех этапах борьбы 62-й сталинградской армии. Но хочется сказать о великих силах, связавших воедино тысячи кристаллов, в нерушимое, крепкое целое.

Прежде всего — долгое отступление не деморализовало, как ожидали это немцы, наши войска. В пыли степных дорог, в свете горящих деревень крепла горечь, креп гнев, крепла решимость умереть, но не подчиниться насилию, черной рабовладельческой силе захватчиков. Это суровое чувство стало обще всем людям фронта — от командующего до рядового бойца. И это чувство легло в фундамент сталинградской обороны.

Сознание величайшей ответственности за судьбу народа в равной мере ощущалось и командованием и рядовыми. Это сознание, пронизавшее всю духовную жизнь 62-й армии, проявлялось в том, что красноармейцы, ефрейторы, сержанты, иногда по нескольку дней оторванные от командных пунктов, сами брали на себя командирские функции, умело, хитро, разумно защищая опорные пункты, блиндажи, укреплен-

ные здания. Это сознание в роковые минуты превращало бойцов в командиров, лишало немцев возможности нарушить управление, создавало монолитное единство.

Люди, боровшиеся в рядах 62-й армии, вступали в великое братство сталинградской обороны. Это братство, теснее уз семьи, объединяло людей различного возраста и различных национальностей. Словно символ этого сурового братства, стоят передо мной трое раненых, медленным, трудным шагом идущих к перевязочному пункту. Эти трое залитых кровью людей шли, крепко обнявшись, покачиваясь от слабости, останавливаясь. И когда один из них терял силы, двое других почти несли его на себе.

— Кто вы, земляки? — спросил я их.

— Нет. Мы из Сталинграда,— сипло и тихо ответил слепой боец, шагавший посредине, с глазами, повязанными грязным кровавым бинтом.

Большой связывающей силой для людей 62-й армии являлась укрепленная кровью вера друг в друга.

— Моим первым, главным принципом военного искусства является постоянная и неусыпная забота о войсках,— говорит генерал Еременко. — Прежде всего — это поставить войска в наивыгоднейшие условия по отношению к противнику, постоянно знать противника, заботиться о налаженном боепитании, снаряжении, одежде. — Он усмехается и добавляет по-житейски просто: — Ну, и чтобы было что кушать — погорячей и пожирней.

Эту постоянную внимательную заботу ощущали все войска фронта. Ее познал командующий 62-й армией генерал-лейтенант Чуйков, получавший всегда в особо тяжелые минуты ободряющие короткие записки от командующего фронтом и могучую под-

держку фронтовой артиллерии, которая находилась в личном ведении командующего.

Эту постоянную заботу хорошо знает полковник Горохов, стоявший на правом фланге 62-й армии. Два с лишним месяца войска Горохова были отрезаны от правобережных коммуникаций двумя немецкими клиньями, стояли на «пятачке», прижатые к берегу Волги. И в течение этих двух месяцев множество раз в минуты сверхчеловеческого напряжения Горохов слышал спокойный дружеский голос, получал короткие приветы, поддержанные и подтвержденные сокрушительной работой дальнобойной артиллерии и гвардейских минометов.

Вера друг в друга пронизывала весь Сталинградский фронт — от командующего до рядового. И простым выразителем ее был тот красноармеец, который, подойдя в Сталинграде к генерал-полковнику, сказал:

— А я вас давно знаю, товарищ командующий! Я еще на Дальнем Востоке с вами служил.

И если красноармейцы знали генерал-полковника, то и он хорошо знал своих бойцов. С великим уважением и любовью говорит он о бойцах Сталинградского фронта:

— Здесь, в Сталинграде, наш красноармеец показал всю силу и зрелость русского народного духа, — говорит он.

Противнику не удалось разбить нашу сталинградскую оборону, благородная структура 62-й армии не поддалась чудовищному напору пробивного тарана. Могучие силы сцепления, связывающие кристаллы стали, оказались сильнее зла, победившего Европу.

62-я армия выдержала, восторжествовала. Пришел день, когда генерал Чуйков, его помощники Родимцев, Горохов, Гуртьев, Гурьев отдали приказ открыть огонь по окруженным в районе Сталинграда немец-

ким войскам! Пришел день, когда 62-я армия от обороны перешла к нападению, приняла участие в сталинградском наступлении. Это наступление, план которого родился в знойные, пыльные дни августа, в тяжкие душные ночи, когда отсвет пожаров, пылавших на Дону, достигал Волги, когда пламя горящего Сталинграда раскаляло ненавистью сердца красноармейцев, — это наступление свершилось. Первый этап сталинградской битвы пройден. Таких ста дней не знал мир. Битва в городе, битва, во время которой заводские рабочие, выходя во время перерыва из цехов, видели, как немецкие танки, перевалив через гребень холма, шли в атаку на наши боевые порядки, битва, в которой бронированные катеры волжской флотилии вступали в бой с немецкими танками, выходящими на сталинградскую набережную, битва, могучими крыльями взметнувшаяся над степью! Там, в степи, обезумевшие от грохота зайцы прыгали в окопы к нашим бойцам, и бронебойщики, ласково гладя дрожащего косого, говорили:

— Не бойсь, не подпустим германа!

Первый этап этой битвы окончен. Генерал-полковник Еременко полулежит на походной кровати, положив раненую ногу на подушку и короткими словами переговаривается по телефону с командующими армиями.

Центр сталинградских боев перенесен из темных развалин, из узких, засыпанных грудами кирпича, переулков, из заводских цехов на широкий простор приволжских степей. Да, первый этап великой сталинградской битвы завершен. Участников ее ждут заслуженные награды. Полковник Гуртьев, полковник Горохов, полковник Сараев возведены в звание генералов.

Тысячи бойцов и командиров награждены орденами.

Но мне хочется сказать о самой великой награде, которой удостоены все бойцы и командиры Сталинградского фронта, — о великой народной благодарности.

В одном из затонов, у одного из сталинградских заводов, стояла вмерзшая в лед баржа. В трюме ее жили шестьсот человек рабочих, их жены, матери, дети, ожидая эвакуации в заволжье. В темный холодный вечер в трюм зашел человек. Он прошел среди мрачно насупившихся стариков-рабочих, думавших невеселую думу. Он прошел мимо скорбно молчавших старух, мимо молодой измученной женщины, день назад родившей сына на грязных сырых досках, устилавших трюм, мимо детей, спавших на грудах узлов. Этот человек при свете коптилки стал громко читать:

— «На-днях, наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск...»

И чудное дело: словно вольный волжский ветер дошел до темного душного трюма. Народ плакал. Плакали женщины, плакали суровые мастера-металлисты, плакали нахмуренные седые старики. Эти благодарные слезы пусть будут великой народной наградой тем, кто вынес на своих плечах страшную тяжесть сталинградской обороны, кто кровью своей отстоял Сталинград.

Декабрь 1942 года

СОДЕРЖАНИЕ

---

2 руб. 75 коп.